

Вечный еврей

Август Вермейлен

August Vermeylen Der Ewige Jude



Электронная книга проекта Gutenberg « » Вечный еврей

Это электронная книга предназначена для бесплатного использования в любой точке США и большинства других стран мира практически без каких-либо ограничений. Вы можете копировать, передавать или повторно использовать ее в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой электронной книге или доступной онлайн по [адресу www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). Если вы не проживаете в США, перед использованием этой электронной книги вам необходимо ознакомиться с законодательством страны, в которой вы проживаете.

Название: Вечный еврей

Автор: Август Вермейлен

Иллюстратор: Франс Мазерел

Переводчик: Антон Киппенберг

Дата выпуска: 20 декабря 2014 г. [электронная книга № 47711]

Язык: немецкий

Кредиты: Произведено Йенсом Садовски

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK «ВЕЧНЫЙ ЕВРЕЙ» ***





Август Вермейлен

Вечный еврей

Перевод с фламандского
Антоном Киппенбергом

*

С двенадцатью гравюрами Франса Мазерела

Лейпциг • Издательство Insel-Verlag
1921

Агасфер и назарянин



В то время, когда наш Господь и Спаситель еще проповедовал среди людей, в бедном подвале в Иерусалиме жил сапожник по имени Агасфер. Он родился в том же году, что и Христос, и был крепким, высоким евреем с костлявым лицом и парой светлых, дерзких глаз, в которых горел огонь.

Он любил твердо стоять обеими ногами на земле и называл кривым все, что не было прямым, хотя и не любил много говорить: каждый идет своим путем, думал он, и смерть дана всем людям.

Этот Агасфер не чувствовал себя счастливым.

В нем было что-то, что не давало ему покоя, внутри него горело что-то, с чем он не знал, что делать; он был похож на человека, который ворочается в постели и не может заснуть.

С раннего утра до позднего вечера он сидел, сгорбившись, в своем подвале, резал кожу, тянул смоляную нить, чинил каблуки, забивал гвозди в каблуки и подошвы и трудился так, что дым доносился до соседей, но он никогда не слышал сладкого шипения масла на сковороде. День за днем, день за днем: так было всегда и так будет всегда: он не мог выбраться, жизнь держала его в тисках и толкала вперед.

Куда? К концу.

Почему? Просто так.

Он видел, как рождаются дети, жалкие, беззащитные червячки, он видел, как умирают люди, молодые и старые, и все это без цели. Он видел, как маленьких пожирали большие; он видел, как голодные обжоры из его переулков превращались в собак, сражающихся за кость; он видел, как невинные маленькие существа страдали, как мученики. И ему хотелось смеяться над всем этим нелепым, потому что он даже плакать не мог, он затапливал все в себя, и на его сердце лежал камень.

Часто он долго сидел, размышляя, на своем низком сапожническом табурете, и его мысли кружились по кругу, как пудель, хватающий себя за хвост. Он вставал, снова садился и оглядывался по своему душному подвалу, как будто там пахло могилой. И иногда в нем

поднималось дикое желание, он яростно стучал по старой сапоге, зажатой между коленями, стучал, как Нек по душе, и в нем звучал глухой, угрожающий голос: «Это должно закончиться, это должно закончиться! И его острый взгляд вспыхивал. Но завтрашний день был похож на сегодняшний, а послезавтрашний — на вчерашний, и Агасфер, что и говорить, продолжал жить так же, по старой привычке людей. И дни шли один за другим, как будто Агасфера никогда и не было.

Когда какой-нибудь гость, сгорбившись, спускался по его лестнице, он ждал, пока тот заговорит, и отвечал ему скупой. «Если бы я только наконец увидел его пятки, чтобы остаться один», — думал он, — один с мрачным пламенем, которое горело в нем. Что могли рассказать ему эти бедняги, кроме как о своей жалкой жизни, такой же, как и его! Он, конечно, хотел бы поразвлечься с детьми, но они боялись его смеха и не любили заходить в эту жуткую пещеру.

Когда его одиночество становилось слишком унылым, он бесцельно бродил по грязным улочкам с их запахом бедности, сквозь толпу шумных сопляков, овощниц, ковыляющих рядом со своими тележками, евреев, которые везде, перед погребями, на порогах, в дырах под лестницами, торговались и кричали. Но он с негодованием смотрел на эту жалкую суматоху и чувствовал себя в ней еще более одиноким, чем когда-либо.

Иногда ему казалось, что ему нужно найти только *одну* вещь, только одно слово, чтобы быть счастливым, — но ни один человек в мире не знал, как сказать ему это слово. Ему хотелось протянуть руки, чтобы наконец-то полноценно взяться за жизнь, но он хорошо понимал, что что бы он ни делал, это не сможет заполнить ужасную пустоту в его сердце, что ни кусочки, ни крошки никогда не утолят его голод, что он будет стремиться дальше, свободный, свободнее жаворонка, свободнее ветра, свободнее смерти, и что все желания бесполезны, все бесполезны.

И так он сидел, плененный своим проклятием, как в подвале без двери и вентиляционного отверстия.

И все же, хотя жизнь не имела для него никакого очарования, хотя он часто чувствовал себя совершенно измотанным, в глубине его сердца, так глубоко, что он сам этого не видел, было что-то, чего не мог тронуть ни один дьявол. «Они меня не достанут», — говорил он себе, и смеялся презрительно, стискивая зубы и держась жестко. Потому что я хочу вам сказать только одно: он был мужчиной с головы до ног, не сладкой душашкой, не болтуном и не пустословом, а суровым парнем из *одного* куска, с парой жилистых рабочих рук, ясным умом и грудью, за которую можно было взяться.

Ну, вы должны знать, что тогда были тяжелые времена, и народ сильно страдал: зерно, накопленное на землях богачей, стоило больших денег, а весь жир с супа снимали налоги и повинности, большие и маленькие десятины, которым не было конца. Вы можете себе представить, как люди роптали: они собирались вместе и спорили тут и там, на углах и перекрестках (). Когда в воскресенье ткачи и прядильщики напивались, в их районе начинался шум, и тогда патриции и кровососы народа дрожали в своих запертых домах. Агасфер скривил уголки рта и пожал плечами, потому что ему иногда казалось, что он мог бы продать все человечество за бутерброд с маслом. Но он с тайным удовольствием наблюдал, как при переписи населения и сборе налогов все больше и больше ропота. «Может быть, они все-таки станут людьми!» — думал он. Но когда на рынке появлялись вооруженные до зубов алебардисты на лошадях с грубо улыбающимися лицами, никто не смел даже пикнуть.

Возможно, дела могут пойти лучше, подумал он, когда впервые увидел Иисуса из Назарета.

Он уже давно слышал, как этот чужеземец, к большому раздражению всех священников и ростовщиков, собирал вокруг себя детей и увлекал их своими горячими речами; и все верили ему, когда он пророчествовал, что они будут счастливы и что однажды на земле воцарится доброта.

«Чушь!» — констатировал Ахасвер и сразу же снова залез в свою пещеру.

Но в другой раз он услышал, как Назарянин опрокинул столы менял в храме и высыпал все их разбросанные купюры на звонкий мост, где они потом их подбирали, согнувшись под его плетеным кнутом; и как он выгнал их со всем их багажом из храма, вместе с голубятами, которые продавали там голубей для жертвоприношений. В тот день Ахасвер промолчал.

А чуть позже он сам его увидел. Это было ближе к вечеру, за пределами городских стен, где между убогими огородами и площадками, полными пепла, мусора и осколков глиняной посуды, работали веревочники и кирпичники. За ним из Галилеи последовала целая толпа: простаки, которых из-за их деревенского вида дворцовые мальчишки издевались на улицах Иерусалима, красные, закаленные рыбаки, голодные лодыри с тупыми глазами и бородатые виноградары с твердыми головами: они стояли вокруг своего учителя и кивали «да» на все, что он говорил. Веревочники покинули свои мастерские, а кирпичники — свои печи; рабочие, возвращавшиеся из города домой с инструментами на плечах, останавливались и смотрели, а еще были галилеяне из Иерусалима, всевозможные бездельники, вшивые калеки и пара проституток, окруженные многочисленными детьми.

Сложив руки в карманах и толкаясь локтями, Агаввер пробирался сквозь эту толпу, все еще с недоверием: «Давайте посмотрим на этого парня...»

Он увидел его — он увидел величественное, серьезное лицо с узким лицом, немного горьким выражением вокруг рта и глазами, полными любви. И вдруг все в нем замолкло, он напряженно прислушался, и голос проник в его сердце; было так, как будто на него легла могучая рука.

Да, перед ним стоял мужчина! И его слова дошли до Ахасвера как простая, голая правда. Да, да, посмотрим... И Ахашверош сопротивлялся этому, потому что он не понимал многого, как ему бы хотелось, но *одно* ему стало ясно сразу: что все это дело должно быть перевернуто с ног на голову; от великого храма, который возвышался там, как чудовище из белого и золотого, в небо, не останется камня на камне... «Не думайте, что я пришел принести мир на землю; я пришел не принести мир, но меч». Из взгляд Иисуса приковался к Ахашверосу, который молча смотрел на него и вдруг, не зная почему, почувствовал безумный восторг в забитом горле.

Позже он стыдился этого, и ему почти казалось, что Назарянин зачаровал его. Потому что, стоя перед ним, он как будто стал другим человеком, он почувствовал, что он человек, и что есть еще другие люди, такие же, как он сам, и что жизнь имеет смысл, и что, возможно, все вещи так просты. Но на что он на самом деле надеялся? Он не знал. А дома он еще больше грыз и терзал себя всеми своими сомнениями, и тогда он возненавидел этого Иисуса, который разжег в его груди безмолвный огонь, потому что теперь его душа не могла больше спать.

Знал ли сам галилеянин, чего он хотел? Почему он болтал о прощении и любви, если хотел сломить власть? И как он собирался дать голодным и обремененным первое место за столом? Как он собирался изменить людей? Было ли его Новое Царство в облаках, или он хотел стать царем Иерусалима, и тогда все дни были бы воскресеньями, а все воскресенья —

ярмарками? Он говорил: «Да будет ваша речь да, да, нет, нет!» Но зачем тогда все эти притчи и образный язык, из которых никто не мог понять? В конце концов, он был всего лишь мечтателем! . . . И почему он часами сидел в храме, споря о законе и пророках с лицемерными фарисеями, «этими побеленными гробницами», как он сам признавал, «которые снаружи кажутся красивыми, но внутри полны костей мертвецов и всякой нечистоты»? Его апостолы, простые душки, которые бегали за ним повсюду, сами не могли понять многого. Почему он ни разу не решился выйти с кулаками из рукава вместе с несколькими крепкими товарищами? Но когда головы нагревались и начиналось какое-то волнение, он со спокойной душой отправлялся в Вифанию к сестрам Лазаря! Нет, это тоже не нравилось Агавере: вокруг него всегда было слишком много женщин.

О, если бы он мог прогнать всех этих сумасшедших девушек и этих негодяев, этих болтунов и бездельников от этого человека и посидеть с ним где-нибудь наедине, вечером, взять его руку в свою, посмотреть в его странные, тихие глаза и спросить его, что ему делать! Ведь он не мог забыть этот нежный голос, звучавший из глубины через жаждущие губы, это решительное лицо, этот взгляд, который в тот день упал на него и в котором он прочитал, да, ясно прочитал, что и в Иисусе горело что-то, как и в нем самом, что-то, с чем он никуда не знал...

Но все его существо окружало такое дыхание горячей скорби, когда он позволял своему взгляду блуждать по своему надеющемуся народу и дальше, к высоким зубцам Иерусалима, что Ахашверош не осмеливался заговорить с ним.

Он молча останавливался на небольшом расстоянии и часто, долго глядя на него, испытывал предчувствие великого счастья, при этом его снова и снова мучило то, что это счастье было совершенно недостижимо. Но он знал одно: что есть человек, такой же, как он сам, человек, который поймет его, который сможет спасти его; и когда тот, наконец, как и обещал, обнажит меч над бледной порочностью мира, тогда он, Агавэр, бросится в бой, как можно ближе к нему, и сражаться, чтобы все разрушилось, неунывая, весело и торжествуя, до самой смерти, — до бесполезной смерти, потому что за что он будет сражаться, он не мог сказать: небо всегда будет небом, высоко над нашими головами, а земля останется на своем месте, с тряпками-людьми на ней, — но чтобы наконец выпрыгнуть из своей подвальной дыры и своей унылой жизни и проложить себе путь к чему-то другому, что бы это ни было, к нелепому, бессмысленному безумию, и все же на мгновение танцевать над разрушенной жизнью в огромном опьянении отчаяния, при котором мир мог бы разорваться и исчезнуть...

Но Иисус только продолжал проповедовать и ссориться со священниками; а поскольку Ахасверус в последнее время больше бегал за ним, чем занимался своей работой, и погряз в долгах, то в четверг перед Пасхой в его погребке появился толстый, коренастый, в разноцветном тюрбане и с гордым пером судебный пристав, который объявил ему: что на следующей неделе его жалкое имущество будет продано, и ему не оставят даже гвоздя, чтобы почесаться.

Агасферу очень хотелось шлепнуть этого клоуна головой об стену. Но что-то в нем сломалось: он не шевелился, молчал и молчал, оглядываясь вокруг, как животное, которое видит смерть. Он снова почувствовал кулак, сжимавший его за шею (), он был пленником своей судьбы, он не мог выбраться. Он лежал там, отмытый, безвольный, полуприпавший, в грязном углу. Если бы он только лежал на шести футах под землей! Когда ты сломан, все кончено, думал он; люди так же слабы перед злом, как и перед добром, они не достойны ни ада, ни рая. Но ничто, ничто — это казалось ему еще страшнее, чем адский огонь...

Жар снова пожирал его изнутри, и он не знал, куда выплеснуться; он чувствовал, как смертельная парализация овладевает им, и дикое безумие бурлило в его разбитой голове, — напрасно! напрасно! Часы ускользали, один за другим, а он все еще сидел там, когда уже тьма окутала все вокруг. Его знобило, зубы стучали. О, сражаться! Сражаться! Против чего, ему было все равно... Он не мог так уйти, он хотел бы сразу погибнуть в каком-нибудь сокрушающем все действии, но он не мог больше думать, весь мир казался ему пустым, таким ужасно тихим... Наконец он лег на соломенный матрас, и часы снова прошли над ним, все испарилось, погрузилось в небытие...

Как вошел Иисус? Ахасверус рассмеялся, глупым, беззвучным смехом, когда увидел лихорадочный блеск в бледных глазах. Это было как в тот день у городских ворот. «У меня еще есть нож, — сказал Ахасверус, — они не заберут его у меня...» Они выбежали на улицу, зажатые в спешной толпе парней с дубинами и топорами и кузнечных молотов, которые несли на своих мощных плечах. Отовсюду, из всех переулков, доносился шум людей и лошадей, каждый понял невысказанное послание. Агасфер бежал, чтобы быть впереди, и вот он стоял с Иисусом на вершине храма, у золотого купола, так близко к тускло сияющей Млечной дороге, что мог бы почти сорвать красные звездные грозди, как плоды. Над Иерусалимом, высоко в небе, мигала комета, неподвижная в роящейся ночи, как кровавый меч. Ах! Ах! Вдали начали гореть дома ростовщиков, весело потрескивая, и пламя мерцало и танцевало в серном воздухе... Но вот внизу, в темноте, было бурлящее море бледных лиц, которое прокатывалось по всему Большому рынку к лестницам и порталам. В ярости таранили тараны; теперь все это дерьмо рухнет, подумал Агасфер, потому что мраморная мостовая дрожала под его ногами. Но это казалось ему вполне естественным; он был уверен в своем деле: он, с диким восторгом грохотал бы в бездну или, может быть, цеплялся бы за звезды... Теперь народ ворвался внутрь, как через шлюзы, он слышал крики насилуемых женщин и протяжный, неистовый рев, время от времени смешанный с барабанным боем и бессмысленным визгом флейты, который был похож на серебристый голосок ребенка на поле битвы. Весь этот шум опьянял Агасфера, и ему было приятно вдыхать теплый запах хищников этой разгоняющейся толпы. Вдруг над зубцами поднялась обнаженная голова судебного пристава, охваченного смертельным страхом; он хотел подняться, потому что снизу тысячи ртов кричали ему «смерть» и «пожар», и, вцепившись когтями в водосточную трубу, он умолял о пощаде. Но Агасфер придавил обеими лапами эту заплесневелую сырную голову, а затем с веселым размахом сбросил маленького человечка в головокружительную глубину. Это внезапно привело его в безумное веселье, как будто он мог теперь разломать мир, как спичку; с глупым смехом он побежал по винтовой лестнице, над его головой звенели колокола, и он кружился, кружился без остановки в темноте, гоняемый ужасной мыслью, что ему придется бежать по винтовой лестнице в вечности, не найдя выхода из этой бездны; но он еще ясно слышал гул колоколов и шум снаружи, и снова оказался на площади, толкнутый и унесенный диким потоком людей. Звук, казалось, вырывался из камней, как буря, он чувствовал, как его ноги слабеют от слабости крови, — он хотел выбраться, он хотел кричать, но эта кровь поднималась в нем, она хрипела в его горле, он томился и кричал, кричал...

... и вдруг проснулся на своей соломенной постели, сотрясаемый лихорадкой, и его широко открытые глаза уставились в кишашую тьму; его сердце колотилось... Но он все еще слышал шум и звон колоколов... Это был не сон... Теперь он был бодр, он узнал звон нескольких колоколов, — нет, разве это возможно? Но издали доносился глухой шум многочисленной толпы, а поближе гремел барабан; кто же бил тревогу в этот ночной час? Шаги спешили по спящим улицам, он напряженно прислушивался... Да, народ вышел на улицы, куклы танцевали, а колокола, колокола, они прыгали над городом! Этот проклятый назарянин, он все-таки осмелился! «У меня еще есть нож!» — смеялся Агасфер; да, это был хороший,

дружелюбный ножок; «он еще увидит... он будет доволен...» И в нем поднялось чудесное блаженство с такой силой, что ему было уже все равно, умрет он или останется жив, если только он сможет в диком триумфе своего отчаяния дать волю своим чувствам.

Он уже был снаружи, с ножом в кулаке. Весенняя ночь была черна, как будто надвигалась гроза. Агасфер дрожал от холода, а голова его горела. Звон и шум продолжались — где же это было? Он колебался мгновение — не зная, куда идти. Что-то из сна продолжало действовать на него, и он хотел пойти к храму, но с другой стороны поднялся громкий, беспорядочный, многоголосый крик, который превратился в шумное облако.

«У Вифлеемских ворот!» — подумал Агасфер и побежал. Тут и там открывались окна: «Что происходит? — Враг в стране?» Испуганные сони спрашивали друг друга и кричали вслед Агасферу. А он только поднимал свой нож, как сумасшедший: «Ребята! . . . Назарянин . . . все начинается . . .»

Нет, это было не у Вифлеемских ворот, колосс круглой сторожевой башни делал ночь там еще темнее. Колокола непрерывно гремели... «Склад в Эль-Амаре горит!» — говорили мужчины, пробегая мимо. И Агасфер следовал за ними. «Ни камня на камне не останется!» — ликовал он про себя. Но слева он снова услышал шум, похожий на шум моря, и, бегая по кривым улочкам, он заблудился, и внезапно оказался в толпе на площади перед домом первосвященника Каифамы. Фантастический свет факелов, скопившихся у двери, танцевал над головами. Люди кричали, смеялись и вопили; полупьяные бродяги толкались, чтобы продвинуться вперед, плечом к плечу, и громко пели бунтарскую песню. Агасфер толкался и кричал вместе с ними, но они не могли пройти дальше. «Они поймали его?» — спросил он. — «Еще бы!» — ухмыльнулся кто-то рядом с ним, и Агасфер удивленно поднял глаза, потому что узнал в соседе грязного головореза из своего квартала, а затем, вытянув шею, уставился на освещенные окна, чтобы увидеть, не выпадет ли из них сам Каифа. Но в этот момент произошло нечто, от чего у него перехватило дыхание: буйство утихло и сменилось напряженным ожиданием, развернулось большое шествие с факелами и народом, высоко поднятые трубы заиграли дикую фанфару, и тогда на высокой лестнице, между ландскнехтами с пиками, появился человек, Иисус из Назарета, совсем бледный и тихий, со связанными руками.

Перед ним шел маленький толстяк Каиафа, и Ахасверус увидел, как над его дряблым подбородком на величественном медном лице с колючими свиными глазками сияло удовлетворение. А за ним — возбужденное поведение тесно сгруппировавшихся священников и фарисеев, которые издевались и свистели. Иисус на мгновение остановился, стоя прямо, как статуя, но они толкнули его вниз по лестнице, и вдруг вся площадь снова превратилась в бурлящий водоворот.

«Отпустите его!» — кричали то тут, то там. «Убейте его! Убейте его!» — лаяли другие. «Он же ничего плохого не сделал! ...» Снова толчки и давка; на углу завязалась драка. «Да здравствует царь Иерусалима! Ух! Ух! — Убейте его! — Отпустите его! ...»

«Черт его подери!» — фыркнул рядом с Агасфером маленький человек с желтым лицом, — «без всех этих бунтовщиков дела и так идут плохо...»

«Но они убьют его...», — сказал молодой человек с дрожащими губами.

Агасфер схватил его за руку, как клещами:

«Как они его поймали?»

И молодой человек рассказал: «На Елеонской горе... Иуда предал его... Они хотят убить его! О Боже! Они хотят...»

«Иуда! Апостол! А остальные? Они не сопротивлялись?»

«А что они могли сделать? Петр ударил одного из них по уху...»

«А Иисус, у него не было оружия?»

«Похоже, что нет, овечка; он добровольно протянул руки, чтобы они связали его...»

Проклятие! Ахавверус почувствовал, как ноги под ним подкосились. И он рассмеялся отчаянным смехом, полным бессильной ярости:

«Этот трус! У него был сон, сон, и нет меча, чтобы воплотить его в жизнь! ...»

Он все еще сжимал нож и стоял неподвижно, прислонившись спиной к дому: он видел, как позади него продвигались факелы и копья, окруженные толпой, и толпа медленно уходила вместе с ними.

Рядом с домом Каиафы еще несколько стражников собрались вокруг костра, лениво растянувшись или прислонившись к своим копьям; там же еще бродили несколько девушек и бездельников, и в свете костра Агавес мог различить лицо Петра, единственного апостола, который осмелился сражаться за Иисуса на Елеонской горе. «От него я все узнаю», — подумал он, и старая надежда снова немного ободрила его: «Может быть, еще что-то можно сделать...»

Когда Агасфер подошел к костру, одна из девушек сказала Петру: «Ты тоже из этой банды, не притворяйся, что не умеешь считать до трех, я видела тебя с Назарянином».

А Петр, с невинным выражением лица, как будто он упал с облаков: «Я? Что ты несешь за ерунду? Я? ...»

«По его речи слышно, что он из Галилеи», — сказала другая девушка. И один из солдат подошел к нему поближе и пристально посмотрел ему в лицо : «Молодой человек, постой... разве не ты отрезал ухо Малху? ...»

Петр вдруг стал дерзким и воскликнул, неровно глядя то в одну, то в другую сторону: «Это неправда! Это неправда! Вы пьяны! ...»

Но Агавэрус схватил его за горло и с ужасающей решимостью прокричал: «Ты Петр, рыбак из Галилеи, и Иисус был твоим другом, трус!»

«Я никогда не видел Иисуса! . . .» — крикнул Петр, побледнев и посинев.

В этот самый момент петух прокричал своим мощным, хриплым голосом длинное, бесконечное «кири-кири», которое, казалось, вырывалось из самой глубины, как предсмертный стон, и ужасающе оборвалось в виде какого-то дьявольского смеха. Так же и из горла Агавера раздался смех отчаяния, потому что: напрасно! подумал он снова, напрасно! . . . И Петр, внезапно освободившись, пошатываясь, отступил назад, как будто молния только что пробила перед ним пропасть в земле. Никто не осмелился протянуть руку к Агаверу.

Он бросил нож и продолжил блуждать.

Тихая ясность обесцветила небо, и из ночи бесшумно и медленно вырос свинцово-серый рассвет. По камням уже загрели телеги, которые везли крестьяне на пятничный рынок. Агасфер смотрел на все это, как будто это его больше не касалось; в нем сломалось желание жить дальше.

Крестьяне сгорбившись шли в погребные таверны, чтобы попить чашку горячего кофе, и Агасфер слышал, как они ругали этого бунтаря, этого проклятого скандалиста; это по его вине снова все было в беспорядке, как раз в рыночный день.

Постепенно весь город проснулся, открылись лавки, занесли в дома оконные ставни, и сонные лица обсуждали большую новость.

«Если они его распнут, то пусть сделают это побыстрее, еще сегодня, — услышал Агасфер, — иначе Пасха пойдет к черту!»

«А дела и так идут плохо!»

«Хозяева не будут жаловаться...»

«Их всех, этих всезнаек, нужно запереть... с их болтовней... чтобы они не мешали людям заниматься своими делами... чтобы они оставили людей в покое...»

«Эти чужие крысы...»

«Они уже не знают, что придумать в наши дни...»

А хозяину гостиницы «Веселый приют», который лежал на подоконнике, парикмахер с угла рассказал, как Петр — «это ужасно!» — отрубил голову Иуде.

Как долго Агавес бродил так, он не мог сказать, — пока наконец не потянулся вместе с толпой к зданию суда, перед которым собралась большая толпа. На балконе стоял правитель Понтий Пилат и произносил речь, с его тяжеловесным, грубым, обыденным лицом, которое выглядело лишь немного более раздраженным, потому что его потревожили из его спокойного состояния.

Было ясно видно, что он предпочел бы держаться подальше от всего этого; ему было безразлично вероучение иудеев, а крикливые священники ему надоели. Он кратко говорил о своей любви к народу и о том, что в первую очередь необходимо навести порядок в интересах экономического развития города, что жители Иерусалима должны наконец-то понять друг друга и перестать вечно ссориться по пустякам. При этих словах фарисеи снова начали выпучивать глаза, а публика только еще больше шумела. Каиафа, который стоял рядом с Пилатом над перилами балкона, сердито и возбужденно кричал своим приспешникам внизу. А Понтий Пилат, немного выбитый из колеи, дал ему возможность высказаться, чтобы успокоить бурю. Каиафа, с ярко-красной головой, гордо возвышающейся над животом, сначала проповедовал умильным голосом, затем стал говорить более решительно, когда заговорил об этом мятежнике, который считал себя царем иудеев () и о необходимости почтения как иудейского, так и римского закона, и закончил свою речь громким раскатом громовых фраз. Да, порядок можно было назвать священным, но этот чужак был именно тем смутьяном, которого нужно было убрать. «Распни его! Распни его!» — кричали люди.

«Ах, что он может сделать плохого?» — сказал Пилат, пожимая плечами. «Он всего лишь мечтатель, интеллигент!»

Писари, храмовые служители, богачи, менялы, люди у шприца, все, кому Иисус мешал заниматься своими делами, все, кто на мгновение задрожал, были повсюду усердно заняты, бушевали, разбрасывая пыль, разносили пиво и обещали золотые горы, если Иисус будет распят. А перед бурей « » Понтий Пилат уединился в доме, раздраженный, пререкаясь с Каиафой, который следовал за ним с возбужденной болтливостью.

Вокруг Ахасвера каждый произносил свою фразу:

«Он же проповедовал против учения...»

«Если он больше, чем мы, почему он позволил себя схватить и не сотворил чуда?»

«Он шарлатан...»

«Он исцелил слепого в воскресенье. Праведные люди не работают в воскресенье...»

«Почему он не остался в тени? Почему он вмешивался в дела других людей?»

«Он хотел разрушить храм...»

«И какая сволочь его окружала, бродяги и шлюхи! ... Эта Магдаленка!» ... И, полные похоти, они рассказывали двусмысленные истории об этой Магдаленке.

«Он отрывал детей от их семей...»

«Он сеял ненависть между людьми...»

«К счастью, я был там! Петр уже начал рубить и колоть: он разделил одного парня пополам до пупка... Но я, черт возьми, ударил его так, что у него закружилась голова...»

«Апостолы сами были сыты по горло: вы же видите, что это один из его лучших друзей испортил ему игру».

«Ха! Ха!» — проклянул Агасфер про себя, — «вот он, избранный народ Нового Царства!» Последние последователи Иисуса бросились бежать или стояли, ошеломленные и озадаченные, с открытыми ртами.

Но вдруг смех, громкий хохот и смех потрясли плотно сгруппировавшуюся толпу. Иисус появился на балконе, выдвинувшись вперед, — и он больше походил на пугало, чем на короля: в знак его власти на него надели лохмотьев пурпурный плащ, в котором он спотыкался, на голову ему надели венец из терния, а в связанных руках он держал тростник вместо скипетра. Поистине, великолепная шутка! Ахавверус смеялся и веселился вместе со всеми, потому что ему казалось, будто он сам стоит там, наверху, будто он сам над собой смеется, будто терновые венцы с его собственной головы капают красным потом.

Солдаты ухмылялись над убогим правителем. Один из них дернул его за волосы и спросил: «Ты, который знаешь всё, скажи, кто это сделал?» Но Иисус молчал.

А другой ударил его сзади по щеке и спросил: «Пророкуй: кто тебя ударил?» Ахашверош почувствовал, как пощечина жжет его собственную щеку, и дико смеялся вместе с народом. Иисус молчал.

И теперь ему плевали в лицо: «Пророкуй! Пророкуй!» Ахашверосу казалось, будто он плевал на свою собственную душу, и он кричал вместе с ними. Ужасная толпа « » (пророки) устремилась вперед, каждый хотел быть там, хотел участвовать. Женщины и дети впивались в рев этой неуправляемой тысячеголовой bestie, которая прижималась к стене здания суда.

Пилат, который придумал всю эту маскарадную сцену, полагая, что после такого зрелища публика оставит его в покое, вышел вперед и, чтобы показать, насколько безобиден этот бедный распятый, добродушно насмехался, указывая на него своей открытой пухлой рукой:

«Это и есть царь Иудейский?»

«Ууу! Ууу!» — кричала толпа, устремившись к молчаливому человеку с терновым венцом и тростью, и «Ууу!» — кричал Ахашверош, «ууу! Царь Нового Царства, царь, у которого был сон, но не было меча, чтобы превратить его в реальность, в реальность!»

Но первосвященники боялись, что добыча может выскользнуть из их когтей: «Пилат издевается над иудеями!» — кричали они со всех сторон, «император в Риме — наш царь! ... Он богохульствует против императора! ...» И Пилат снова вышел из себя, оглушенный криками, подстегнутый Каиафой.

«Распни его! Распни его!» — все громче и громче раздавались крики.

Пилат разгневался. «Мы должны покончить с этим побыстрее», — подумал он. И, не зная, что делать, он обратился к самому Назарянину: тот вел себя слишком молчаливо и не хотел сказать ни слова в свое оправдание: он должен был — черт возьми! — все-таки четко объяснить, что он на самом деле думает, тогда приговор, возможно, будет более мягким; и, становясь резким, Пилат выпалил: «Давай, будь наконец разумным, не будь таким романтичным, принимай вещи такими, какие они есть... Ты в моей власти, я могу делать с тобой, что хочу, говори...»

«Ты ничего не можешь сделать со мной!» — сказал Христос, устремив взгляд внутрь себя; «Я *есть* истина».

«Истина... Истина... Что такое истина?» — пробормотал Пилат, с искренним сочувствием глядя на этого бедного фанатика, который так жалко испортил себе дело. Но он уже нашел другой выход, чтобы одним махом избавиться от этой истории:

«Дорогие сограждане, это древний обычай, почтенная традиция... традиция, говорю я, которой мы должны верно следовать, чтобы на Пасху правитель освобождал одного заключенного; — разве мы не хотим его освободить?»

«Нет, не Иисуса, — Варавву!» — раздался голос. И «Варавва! Варавва!» — раздался крик, который теперь поднимался отовсюду. «Варавва!» — крикнул и Ахаввер.

Этот Варрава, должны вы знать, был хорошо известен в Иерусалиме и дорог народу как неисправимый бродяга, развратник, ночной гуляка, пьяница, игрок в кости, распутник, обжор, похабник и всеобщий знакомец.

«Если ты оставляешь нам выбор, — сказал Каиафа, — то ты признаешь, что Иисус виновен!»

Пилат вдруг потерял терпение: «С меня хватит, — заключил он в ярости, — я сижу здесь уже все утро и болтаю без умолку, распните его, если вы хотите его распять, но тогда сразу, чтобы покончить с этим! И первый, кто еще осмелится пикнуть, полетит...»

Было как будто страшная волна с диким ревом хотела унести всю эту кишашую толпу наверх, в суд. Иисуса утащили в суматохе, а Понтий Пилат, сгорбившись, скрылся из виду.

Для Ахасвера все происходило так, как будто это было далеко от него, как будто он блуждал за пределами человечества, за пределами жизни. То, что они собирались распять, было

частью последнего сна, который поддерживал его; но и это распятие, и все остальное происходило во сне. Все вещи носили на себе печать смерти.

О, он должен был выбраться оттуда, он хотел вернуться в реальность, он хотел еще раз посмотреть на Иисуса с близкого расстояния, чтобы ясно почувствовать, что все это не было выдумкой, почувствовать, правда ли, что он, Агасфер, теперь остался совсем один, совсем один в этом мире, чтобы нести всю его жалкость, всю его пустоту.

Лихорадка жгла его, он охрип от криков, он должен был выбраться из этого адского суматохи. Он дошел до городских ворот, через которые поезд должен был подняться на Крестовый холм. В воротах была небольшая гостиница. Агасфер отдал свои последние гроши за стакан пива и остался сидеть снаружи на скамейке: оттуда он мог хорошо все видеть.

Слепой и хромой, которые раньше просили милостыню у ворот и которых исцелил Христос, громко шутили с хозяйкой.

«Вам должно быть стыдно!» — сказала она.

Один из них ответил: «Что мы можем поделать? — Если он вернул мне зрение, то он сделал это для того, чтобы я мог им пользоваться!» И он посмотрел на хозяйку с похотливым взглядом.

А другой: «Это не наша вина! — Если он вернул чувствительность моим рукам, то он сделал это для того, чтобы я мог ею пользоваться...!» И он обнял хозяйку, которая хохотала во весь голос, дрожащей грудью.

Перед гостиницей прогуливались жители Иерусалима, целые семьи, зевая от нетерпения. В этот день никто не работал, в воздухе витала какая-то странная ярмарочная атмосфера, хотя погода оставалась мрачной и пасмурной. У городских ворот музыкант напевал свои песни, а народ глазел на него, и толпа сопливых носов бежала за красным лоскутом, привязанным к шесту, напевая и играя на барабанах и литаврах. Из всех окон выглядывали любопытные головы, а на крышах теснились люди.

Они уже пообедали, и многие начали терять терпение от долгого ожидания, когда наконец вдали послышался шум и звуки фанфар. — «Вот они! Вот они!» И вскоре жалкая процессия появилась на повороте высокой улицы, откуда она медленно двинулась к городским воротам.

За группой уличных мальчишек и бродяг, которые, преследуемые лающими собаками, бежали или прыгали, взявшись под руки, и свистели, сначала появились солдаты в шлемах с развевающимися перьями, на разноцветных лошадях; они несли щиты и знамена. А затем немного музыки и пехота с копьями, ландскнехты в тяжелых доспехах, алебардисты, лучники, вспомогательные войска из Ливии и Эфиопии, мавры и трубачисты, короче говоря, черт с бабкой, все, кого они смогли собрать. И в окружении всей этой грубой силы с высоким удовлетворением шли первосвященники с Каифасом, книжники, старейшины народа, церковные старосты и сидящие на стульях в храме, наместник и его совет, мастера гильдии богатых суконщиков, союз менял, общество поощрения туризма, ассоциация домовладельцев и землевладельцев, всех ханжей, лицемеров и черномазых Иерусалима, всех лицензированных мошенников и горлорезов, всех торговцев, всех денежных акул, всех кровопийц и мозгососов, всех мучителей и пожирателей простого народа. И снова солдаты и солдаты, без конца... Кто мог еще противостоять этому? Кто мог еще протестовать? — Но о! несчастный, сломленный король, который тащился позади под большим крестом! . . .

Большинство зрителей теперь молчали, с зажатым горлом, с мрачным предчувствием в сердце, или смотрели своими коровьими глазами и думали: «Он это заслужил!» или «Что мы можем изменить?» или «Он обманул нас, он обещал нам счастье», и эти были раздражены, потому что чуда не произошло. Но они не смели больше смотреть друг на друга. Были и такие, которые поняли, что поступили плохо, и поэтому разгневались: они кричали ругательства и бросали в мужчину грязью. Женщины сочувствовали ему тихими словами сострадания и рыдали. «Он, должно быть, что-то натворил...», — сказала рядом с Агасфером одна из них, держа на руках младенца.

И Агаввер увидел, как мужчина с крестом приближается, спотыкаясь. В его душе сидела смерть. Он хотел бы забыть все, больше не видеть этих трусливых дворняг, не слышать больше бессильных женских стенаний. Он думал: «Вот тот, кто не смог вынести свою мечту, тот предатель, который убил мою мечту. И теперь я остался один, — я — один...» Он снова перебирал это в себе, безразличный к своей собственной боли; безразличие окружало его со всех сторон, как будто он никогда больше не сможет протянуть руки. Да, все могло бы быть так прекрасно! Но все было бесполезно, жизнь была бесполезна... И поскольку только он один, только он один знал об этом, что-то внутри него прошептало: «Я не сломаюсь».

Но когда галилеянин достиг городских ворот, произошло нечто удивительное.

Агаввер стоял прямо, с высокими широкими плечами, устремив свой суровый взгляд на Иисуса. Иисус упал на колени под тяжелым грузом дерева и посмотрел на Агавера с чем-то вроде молящего вопля в глазах (). Его лицо было бледным, покрытым потом, полным пыли и крови. Он узнал Агавера и молча, казалось, говорил: «Ты, мой брат, помоги...»



«Почему?» — подумал сомневающийся, и еще раз «почему?» — с насмешливой улыбкой над собой и над всем. И в мрачной пустоте его сердца было глубоко запечатлено: «Я останусь верным бесполезной мечте. Я не буду плакать. Я не сломаюсь».

Его губы оставались сомкнутыми, взгляд высоким и твердым. Но вдруг он не видел ничего, кроме глаз Христа, пот и кровь померкли, он не видел ничего, кроме тихих, пронзительных глаз, которые очищающе освещали лицо. Да, это был его брат; да, теперь он ясно видел: в нем тоже было что-то, что темно светилось, что-то, с чем он не знал, что делать, вечное беспокойство; он видел это как в бездне, но над этой бездной трепетала непостижимая свет, как улыбка, как благословение... Агасфер почувствовал, как нежное пламя этих глаз обжигало его сердце.

И с тех пор, как он это увидел, оно продолжало гореть в нем, безжалостно, неугасимо, и он должен был следовать за Христом, своим братом. И он должен был страдать вместе с ним всю эту ужасную страсть: это была его плоть, пронзенная и пригвожденная к кресту, его рот, наполненный уксусом и желчью, его бок, пронзенный копьем. Когда мать Иисуса упала в обморок, его сердце тоже разрывалось, но он оплакивал не только сына. И когда народ, охваченный страхом и раскаянием, убежал под мрачным, пустым небом, прежде чем Он испустил Свой последний вздох, и остались только несколько солдат, которые играли в кости за Его плащ, и облако окутало Его лоб, и Он воскликнул: «Отец, почему Ты меня оставил?» — тогда взгляд Ахашвероса искал Его любимый взгляд, и они вместе исчезли в том же море отчаяния, над которым снова сияла торжествующая, непостижимая улыбка Христа.

И когда все было совершено, Агасфер поспешил прочь, куда — он не знал: он знал только, что никогда больше не успокоится и будет бродить и бродить без конца — без конца.

Агасфер на пути в ад



Он шел, склонив голову к пепельно-серой земле; небо над ним больше не существовало для него, он не хотел ничего видеть. Но в нем неугасимо горело мягкое пламя взгляда Христа.

И он ненавидел этот взгляд. О, если бы он мог забыть его, разорвать свою грудь, чтобы задушить жар внутри! . . . Напрасно! Он шел с этой невыразимой болью по пустому миру, и во всем его существе было желание больше не быть.

Да, перестать существовать! Но... умереть — как же тяжело умирать! Он не мог больше хотеть; — не думать, это было единственное, чего он хотел. И все же в нем таился скрытый страх... он не хотел больше думать.

Светлые дни и темные ночи сменяли друг друга в постоянном движении над ним. Он шел, спал беспокойным сном несколько часов, а потом шел дальше; одна рука сжимала узловатую палку, другая копалась в его груди или иногда сжимала его лоб, как будто его колола терновая корона. Сначала он избегал деревень, питался фруктами или свеклой и просто шел, не осознавая, что заблудился.

Так он бродил в гору и под гору, под солнцем и ветром, по безбрежным дорогам мира. Иногда он блуждал по болотам и лесам целыми днями, а потом, измученный голодом,

спускался в долины, где жили люди. И там он просил милостыню, недовольно ворча, как медведь, который вынужден танцевать под кнутом. Своим худым лицом, в котором светились неподвижные глаза, он наводил ужас на женщин; они давали ему бутерброд с маслом и быстро уводили своих детей обратно в дом. Он не благодарил и шел дальше, останавливаясь перед гостиницей, где арендаторы сидели в тени, играя в кегли и куря трубки, с рукой на пенящемся кувшине. Они боялись его длинной, неподвижной тени и осторожно отодвигались в сторону, чтобы он их не коснулся. Он не произносил ни слова, но его худое тело предвещало болезни, голод и, возможно, еще более страшные бедствия. А в его глазах был безмолвный вопрос, который они предпочитали не видеть. В присутствии Агавера чувствовали себя неловко, не зная почему, — как при наступлении вечерней сумерки, когда человек задумывается о краткости жизни и о том, что будет после нее.

И он бродил, бродил. Иногда, как будто боясь самого себя, он снова чувствовал потребность быть среди многих людей, потеряться в толпе. Так однажды он несколько дней шел вместе с армией по дорогам. Солдаты, обезумевшие от бесконечной ходьбы, творили всевозможные бесчинства в сельской местности, играли в господ, толкали крестьян перед собой копьями, требовали бекон с яйцами, старое пиво и молодых девушек. Наконец, когда они пришли в большой город, они начали бунтовать и грабить. Они бегали по темным улочкам, ревя как дикие хищники, врывались яркими толпами в лавки евреев, а затем выбрасывали трупы через окна. Пол был красный и черный от крови, сражения дошли до церкви, и Агасфер видел, как умоляющих женщин и маленьких детей убивали, как будто это было для развлечения. Но самым ужасным ему казалось то, что его сердце даже не задрожало: разве это происходило в далеком сне? Разве это были люди, которые убивали или умирали? — Когда над всем этим умиранием началась грандиозная оргия, он снова бежал дальше, потому что посреди суматохи он все еще был один — он всегда был совершенно один.

Он стоял вне человечества и все же оставался человеком, ничем иным, как человеком. Он стоял вне времени людей и все же чувствовал, как это время грызет его изнутри. Он видел повсюду смерть и жизнь в бесконечной борьбе. Он видел, как храмы превращались в зловонные костницы, где среди бела дня выли гиены; он видел, как на месте бывшей пустыни возвышался город с высокими стенами и башнями. Он видел, как появлялись новые народы, а другие исчезали. Он был равнодушным, но страдающим свидетелем бессмысленного существования, которое возникает и исчезает, умирает и воскресает, чтобы снова умереть. Он путешествовал из страны в страну, неудовлетворенный; что бы ни встречалось ему, это не могло наполнить его сердце, он хотел идти дальше, дальше. И он хорошо знал, в глубине своего сознания, что его тоска была вечной — что вечным было пламя, которое обжигало его душу.

В Египте он увидел сфинкса: какой-то рак пожирал его лицо, и он уже наполовину погрузился в песок; он казался уставшим от созерцания ничтожества. «Твое время истекло, — подумал странник, — теперь настало мое».

Он увидел страну, где деревья растут верхушками в земле, а корнями в воздухе. Там люди ходят на головах; у них на черепе появляются мозоли, а на ногах — искривления; и они едят задницей, во что многие ученые не хотят верить. Но Агасфер уже давно понял, что ничто не может быть названо истинным или ложным.

Он также увидел страну, где похвальным поступком считается убить своих родителей, пока они не стали слишком жесткими, и замариновать их на зиму. Говорят, что это очень вкусно, если привыкнуть. Агасфер не вел себя как неопытный турист, который удивляется всему, потому что он уже давно понял, что ничто не может быть названо добром или злом.

Он видел народы, которые прославляли мир, и другие, которые не хотели знать ничего, кроме войны и крови. Так что каждый был по-своему счастлив или недоволен и считал все остальное глупостью. Он видел племя в Африке, которое подчинялось лесным павианам. Он видел людей, которые зажигали ладан перед одетыми куклами или перед шестом с шляпой на верхушке, а других, которые поклонялись своей грязи. И все были убеждены, что только они одни правильно понимают божественные законы.

Он видел страну людей-вшей: они живут голыми в долине, похожей на котёл, и ничему не поклоняются, а лежат весь день на животе, с полузакрытыми глазами, погруженные в ленивый, бесформенный сон. Они выскребывают себе пищу из земли ногтями и не знают более праздничного блюда, чем черви и паразиты. Когда идет дождь, они прячутся в пещерах. Агасфер увидел с крутой скалы прямо под собой сидящего такого ленивого человека и плюнул на него: неуклюжее существо ползло немного дальше, как жаба, и когда Агасфер плюнул еще раз, оно больше не шевелилось. Когда наступал вечер, они лениво искали друг друга и садились рядом, а затем один из них начинал испускать из своей хриплой глотки тревожный, протяжный вой, на который два или три других, а затем и все стадо внизу, в сумерках, отвечали таким же блеянием, таким печальным и покинутым, что Агасфер никогда не смог этого забыть.

Наверху, на горе, находился город мудрецов: они презирали все земные блага, и их лица всегда казались озаренными небесными мыслями, как тихий свет, просвечивающий красноватым светом через алебастровую вазу. Они были очень деликатны в общении и не боялись смерти, но в их улыбках чувствовалось что-то вроде тихой тоски по дому.

Когда Агасфер через некоторое время снова прошел мимо, он заметил, что после особенно влажного сезона значительная часть горы мудрецов постепенно опустилась в долину, так что святые и нищие теперь лежали в братском союзе на глубине трехсот футов под землей. Агасфер раздавил еще несколько муравейников, но это было не очень весело, и, полный отвращения, он ушел в другое место.

Так он нашел, в семнадцати милях выше южного ветра, а затем направо и прямо, недалеко от горы Блин, где ловят облака мышеловкой, всемирно известную страну Шлараффенланд, полную удовольствий и хорошей жизни. Деревья там сделаны из сахара и увешаны конфетами, дома построены из пряников и покрыты медовыми пирожными и яичными блинчиками. Там вы можете весь день есть рисовую кашу серебряными ложками, а повсюду журчат ручьи золотистого игристого вина, сладкого медовухи, гиппокраса, ламбика и двойного пива Oudenaarder. Если вы устанете от амброзии, протяните руку к жареным цыплятам, которые бегают вокруг вас, или отрежьте кусок ветчины от подвижных поросят, которые всегда носят нож в заднице. Каждый час сна приносит грош; вам нужно только подумать: «Сердечко, чего же ты желаешь?», и самое аппетитное, о чем вы можете мечтать, окажется перед вами, и все это будет пиршеством, развратом и распутством, сколько душе угодно.

«Я играю!» — сказал Агасфер, потому что казалось, что эти сияющие обжоры и бездельники не привлекают к себе внимание лишними размышлениями. И это была прекрасная жизнь! И пир! И лакомство! И крики «виват»! — но ему стало тошно и плохо, его желудок скоро вышел из строя, и никакое вино не могло полностью утолить его жажду. «Мы, ленивцы, — сказал один из них, — наслаждаемся жизнью, потому что не заботимся о бессмертии души». — «Не были бы вы спокойнее, — спросил Агаввер, — если бы бессмертие тела было вашей долей?» Ибо он заметил, как ужас пронзил их животы, когда без предупреждения Смерть вступила между всеми этими жирными пьяницами, чтобы закрыть одному из них его хлебный рот; и

когда тело спешно зарывали в землю, как гнилую губку, разбухшую от перезревших соков, тогда черви восклицали «Аллилуйя», а наверху — «О, бедняга!»...

Было бы слишком долго рассказывать вам от А до Я обо всем, что Агавэр видел во время своих многочисленных путешествий. Но чем больше он видел, тем глубже становилась ужасная пустота внутри него. Ведь это было не то, что ему было нужно; вещи, которые он мог видеть и трогать, не имели ничего общего с тем, что ему было нужно; вещи и люди стояли перед ним как игра противоборствующих сил, бесполезная суeta без связи и смысла, с безмолвной смертью за спиной; и в Grunde genotmen ему было все равно на весь этот сборник творений, поскольку он чувствовал себя чем-то другим: он был единственным в своем роде, избранным изгоем, и нигде не мог найти объяснения голосу внутри себя, который гнал его вперед.

Самое невероятное казалось ему привычным, как только оно теряло свою новизну, и жалкая повседневность всего обширного чудесного мира держала его в плену, как раньше душная теснота его погреба в Иерусалиме. Он чувствовал, что его судьба жила в нем, сильнее смерти, и ему казалось, что он несет в себе вечность; но он оставался безвозвратно человеком, с его мучительно терзаемой головой, с его кровоточащими ногами, которые он тащил по камням, с его двумя бессильными руками, которые не могли схватить ничего, кроме немного пыли, которая должна была умереть. Он не был богом — даже дьяволом! — и даже вечность, через которую не проникал никакой другой свет, кроме меняющегося тусклого света Земли, казалась ему тюрьмой, в которой он будет кружиться по кругу с однообразными шагами. У него было предчувствие, что рано или поздно он сможет испытать все, что есть в мире, обладать всем, что есть в мире. Рано или поздно он испытает все, что может испытать человек: радость, страдание, любовь, вожделение, все удовольствия, все ощущения пяти чувств; рано или поздно он познает все жизни и проживет их. С тех пор как он понял, что ничто не может погасить то, что горело в нем, возможности для него увеличились в тысячу раз, но именно поэтому он хотел невозможного. Он мог бежать от одного конца света до другого, и *поэтому* он мечтал о том, что находится там, на другом конце, поэтому для него не было ничего более желанного, чем то, что было для него недоступным и закрытым. Что он давал за всю эту разваливающуюся мелочь без цели и смысла? И если *один* терпкий плод не привлекал его, то что для него значила миллион терпких плодов? Время и все земные вещи принадлежали ему, но он все же жаждал, жаждал сильнее, чем когда-либо, единственного, чего не мог увидеть.

Он не хотел знать, что он жаждал *этого*, он хотел забыть все, все. Тот взгляд Христа, который мягко обжигал его, он должен был забыть прежде всего. Однажды ему это удалось, но, увы, не надолго. Ведь небо без начала и конца с его безмолвным шепотом недостижимых ясных звезд, — и то и дело, вечно то и дело, колышущийся, глухо грохочущий шум одинокого моря, — или иногда уже звонкий песнь жаворонка, огненно-яркое пение соловья в темноте, — все это пробуждало в нем жар, пламя тоски по чему-то, что он предчувствовал, но не мог назвать и в чем он нуждался.

Но он не хотел об этом думать. Однажды, когда он мрачно шел через деревню, ему дала милостыню женщина, лицо которой говорило о том, что она много страдала, и она, казалось, не боялась его; она решила, что он находится в паломничестве, и спокойно сказала: «Во имя Бога, которого вы ищите так далеко...»

«Я ищу дьявола!» — проклянул Агасфер.

Но голос продолжал шептать ему: «Во имя Бога, которого вы ищете так далеко...» Он хотел убить этот голос, он хотел вырвать себе глаза, чтобы больше не видеть эти глаза Христа, он хотел умереть, чтобы убить это желание в бездне своей души.

«Я ищу смерти», — думал он, — но из глубины души поднималось сомнение, которое он не мог изгнать: это не было правдой, он не сломался бы... И почему же его охватил странный страх смерти, — как будто он никогда не смог бы умереть *полностью*? ...

«То, что я ищу, просто не существует», — снова ухмыльнулся он и насмехался над собой, но он шел, шел, не останавливаясь.

Так однажды на своих долгих путях он встретил пилигрима; под широкой, украшенной ракушками фетровой шляпой дрожал путевой плащ, на котором лежали мешок для подаяний и бутылка из тыквы. Это была костлявая фигура, которая без спешки шла, переставляя ноги, и при ходьбе тело регулярно падало то на одну, то на другую ногу; человек, казалось, больше не двигался по своей воле. Когда две тени шли рядом друг с другом, он не поднял глаз. Он бормотал сквозь зубы: «Отче наш, сущий на небесах...», и слышался тихий стук толстых бусин его четок.

«Тепло!» — сказал Агасфер, который был жаждущим и поглядывал на бутылку с выпуклым горлышком.

Из-под края шляпы выглянуло старое лицо с мертвым взглядом, сидящее в большой глазнице, и произнесло:

«... Да святится имя Твое...»

«Глоток мне бы не помешал, приятель!»

«...Да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле...» — ответил пилигрим.

Агасфер взял бутылку из тыквы и сделал долгий глоток, но пилигрим продолжал бормотать и жевать свою молитву, не обращая ни на что внимания. Агасфер почувствовал себя странно; это казалось ему призраком, обремененным страшной тайной, и он спросил неуверенным голосом:

«Но, человек... ты живой? ...»

Но паломник снова поднял глаза, как добродушный дурак:

«... избавь нас от зла», и, глубоко вздохнув, добавил: «Аминь». Затем его взгляд снова упал на землю, и он начал все сначала с другой шарикой.

«Небольшое разнообразие в его разговоре», подумал Агасфер, но все же последовал за ним на расстоянии, привлеченный этим дураком, который тоже просто бродил, как будто не имел цели, и, возможно, годами полностью одурел от молитв; и он стал для него как далекое отражение самого себя, из которого смерть, невозможная смерть, насмешливо улыбалась ему.

О, если бы он только мог, повторяя одну и ту же молитву, медленно, упорно и уверенно, позволить своему духу заблудиться в ничтожестве! Старый мальчик шел шагом «я дойду», и когда в полдень, все еще молясь, он вытянул ноги под тенистой липой, он скоро заснул, как

невинный ребенок, и тихонько захрапел. Агасфер смотрел на мертвенное лицо, на котором лежало спокойствие без морщин. Завидуя, он продолжил путь, один.

Но он не произнес ни одной молитвы и считал свои шаги, сто, потом еще сто, до тысячи, двух и трех тысяч. Но при этом его чувства были заняты чем-то другим — тем, что произошло в ту пятницу... Он не мог успокоить свои мысли, не мог избавиться от образа распятого, и тогда он в ярости начал ругаться, всегда одной и той же руганью, которая звучала в такт его шагам, пока этот шум не оглушил его разум.

Но в конце концов он снова начал дико смеяться над собой. «Я ребенок, — думал он, — глупый маленький ребенок!»

Земля исчезала в вечернем тумане, смешиваясь с длинными струями дыма от тлеющих костров, на которых жарили картошку. Всюду было так одиноко, так пустынно и полно вечерних ароматов. «Где же я окажусь?» — думал измученный Агасфер. Вскоре он разглядел плоские соломенные крыши деревни с хлевами и сараями; когда он подошел к месту, окружавшему церковь, в закрытых домах зажглись дружественные огни. Он вошел в гостиницу, где крестьяне сидели при свете нескольких свечей вокруг бочки и играли в карты, заказал пиво и молча, угрюмо, выпил один стакан за другим. Теперь это было только сознательное пьянство, чтобы притупить свой разум, чтобы забыть, чтобы на несколько часов умереть. Но он долго не мог опьянеть; тогда несколько жалких собутыльщиков с насмешливыми улыбками подошли к нему, чтобы выпить с ним, и они все время орали одну и ту же протяжную песню « », склоняя свои покрасневшие лица друг к другу. Один из товарищей прислонился к Агасферу и утомлял его, бормоча и жалобно ныя, рассказами о своей жене, умершей двадцать лет назад от туберкулеза. Агасфер хотел присоединиться к его воплю, но мрачно сгорбился и стал пить... На следующий день он проснулся на куче навоза. Он пошатываясь пошел дальше, прилег в канаву, чтобы похрапеть, а потом снова зашел в кабак и стал пить. У него болела голова, он видел все как через туман. Он нагло бросил свои гроши на стол, выпил так, что у него зажглись внутренности, разбил стаканы и был выгнан с побоями. И так он снова пошатываясь шел по улице, от кабака к кабаку, или между тем храпя лицом в землю.



Пока, протрезвев, он снова не увидел свет, снова не почувствовал в себе жизнь и с отвращением не понял, что его упрямство было лишь детской шалостью, — что было нечто, чего он не забыл, нечто, чего он никогда не забудет. И в нем жил тайный огонь, неугасимый.

«Как может умереть тот, кто так страстно жаждет смерти?» — думал он.

Снова наступал вечер, и он был так устал. Какой смысл было еще протягивать руки? — и к кому, к чему ему было звать? . . . Он сел, сломленный, на камень, на опушке большого, мрачного леса, пока сумерки поднимались серыми с равнины; шепчущая тишина земли говорила с тишиной неба, только вдали звонил колокол; однажды мимо прошел пастух, гнавшего своих послушных овец в хлев, и их топот в пыли напоминал тихий шум летнего дождя. Было так странно, что происходило в Агасфере, и этот вечер казался другим, чем

обычно. Как долго он уже шел? Он не знал; возможно, годы были для него как часы, как будто он шел во сне, который охватил его волю, но теперь постепенно рассеивался перед его становящейся яснее тоской по дому. Его сердце было разбито, но и его парализующее безразличие словно сломалось, и из пустоты его ума поднялось что-то скорбящее, что он все же не мог убить, и это было его сознание. О, эта жаркая страсть, эта пылающая страсть внутри! . . . Ощущение, что жизнь в нем все же продолжала расти и неумолимо пробивалась сквозь все обломки, и к тому же слишком сладкая страсть этого вечера, все это делало его муки еще более мучительными, чем они когда-либо были. И он подумал:

«Ах! Почему я посмотрел на распятого? Именно в тот полдень, перед тем как я посмотрел на него, я мог бы так легко умереть!»

Он хорошо знал, что теперь это уже невозможно, что обычная смерть людей не сможет утолить голод его раздувающейся, его желающей души, увы! Он мечтал о сверхчеловеческой гибели, которая одновременно уничтожила бы сам мир, о смерти, которая была бы как проклятие для... для того *другого*, безымянного, чего он жаждал, чего не мог достичь и что ненавидел, чего не хотел знать, — о смерти, которая была бы как плевок на тайну, которая заставляла его страдать. Он хотел бы обеими руками обрушить небо на свою голову и на все вокруг... Нет, это было слишком глупо! Он не хотел знать, что существует небо, он все равно навсегда прилип к этой твердой земле... И он в отчаянии упал на колени, впиваясь когтями в землю; он хотел быть этой землей, он хотел быть самой первозданной материей, он хотел бы разделиться на миллионы и миллионы кусочков, чтобы жить во всех вещах — и больше не чувствовать свою душу! — чтобы быть соком деревьев, кровью теплого животного, водой рек, скалой и воздухом, вечным брожением земли.

Тихая волна ночи окутала всю землю, но глубины неба оставались как зеркально чистое озеро. И Агасфер, подавленный проклятием этой бесконечности, убежал в лес, — в зеленую темноту.

Лес был полон шепота и странного трепета; Агасфер пробирался через него на ощупь. Самые большие деревья стояли там, как гиганты, покрытые мхом и столь древние, что они уже забыли, как говорить лишнее. Над прозрачными сводами листьев повсюду догадывались о других сводах листьев, как будто там было два, три леса друг над другом, а вокруг, между ветвями бледной зелени, которые тихо дрожали, как будто множеством почти неподвижных крыльев, взгляд блуждал через таинственную игру теней до черных пещер запутанной растительности.

Оттуда повсюду вытекала полная ночь, в то время как все вещи затаили дыхание, чтобы не разбудить ни одного звука. Только совсем высоко шелестели листья, на которые, возможно, светила луна; иногда пищала птица, которая, полусасыпая, что-то рассказывала. Ахасверу понравилась темнота, а также то, что все снова напоминало сон.

Он осторожно шел дальше; земля все больше опускалась в глубокие впадины, где воздух был душным от диких, влажных, знойных запахов, а тишина была полна беспокойства, как будто это был большой вздох, который хотел вырваться наружу, но не мог. Множество едва слышных звуков гудели и потрескивали в темной тепле — там жили животные и, несомненно, спаривались. Некоторые отскакивали рядом с ним, и кустарник хрустел под их бегом. Потом вдруг олень начал реветь в течке, где-то в одиночестве глубины. Агасфер напряженно прислушивался: — больше ничего, только стук его крови почти в горле, — снова жалобный крик, — другие олени отвечали в темноте, — затем галоп, который становился все более неясным вдали, — затем больше ничего . . .

Но внизу струился лунный свет, отражаясь на серебристом трепете озера, и на берегу, в низко нависшей синеве, Агасфер заметил обнаженную женщину, полулежащую с лицом, отражающимся в мелкой воде, и она пела медленную песню, дидельдумдей, о которой ничего нельзя было понять.

Агасфер подошел поближе, чтобы понять. Пение прекратилось, женщина оглянулась, но, казалось, не заметила Агасфера. Она медленно покачивалась из стороны в сторону; играя, как ребенок, поднимала руки, наполненные водой, которая струилась в свет, как жемчужные пузырьки, — как будто она хотела посвятить их луне, — при этом она наклоняла головку назад и болтала всякую чепуху на языке птиц. А потом все затихло, осталось только мерцание лунного света на темной воде.

Тишина давила на Агасфера, и он, не зная почему, вынужденно рассмеялся и позвал милое создание. Она посмотрела сбоку, наклонив голову, как пугливая птица, которая хочет улететь.

Агасфер осторожно пробрался сквозь кусты и остался на небольшом расстоянии, притаившись. Через некоторое время морская женщина, казалось, снова забыла о нем, ее отвлекло трепетание стрелолистника или водяной лилии, и теперь она мечтала, прислушиваясь к ночи и лунному свету, выпятив молодую грудь и тихо дыша. Свет, который трепетал вокруг ее чистых членов, без лучей, был неописуемым пухом, росой, туманным чем-то, — как приглушенная музыка, которая тайно играет сквозь другую, — два шепота музыки, которые ищут друг друга, но не смеют соприкоснуться.

Агасфер резко поднял голову, его глаза торжествовали: «Я нашел ее!» — и он бросился к ней. Но ффф — она оказалась под водой и исчезла... С гораздо большего расстояния он услышал ее светлый смех, который раздался по всему лесу.

И Агасфер стоял с пустыми руками. Ночь стала бесконечно большой от мучительной тишины. «Ух! ... Ух!» — наконец прозвучал манящий голос с озорным напевом.

Агасфер не шевелился, хотя в его теле горело желание; угрюмо замкнувшись в себе, он делал вид, будто никогда не слышал о русалках; только его взгляд оживлял его мрачное лицо, потому что он видел, как божественная нежность этого белоснежного чуда медленно плыла к нему, небрежно и лениво изгибаясь; по ее рукам и волнистой спине иногда скользил фосфоресцирующий блеск; она смотрела на Агасфера, как капризный ребенок, который все же хочет улыбнуться.

Когда она забалтывала прямо перед ним, она снова выглядела по-другому: ее кожа имела цвет позолоченных солнцем белых виноградин, ее черные волосы стояли как шлем и падали дикими локонами, ее глаза были твердыми камнями, полными темного переменного блеска; и эти глаза звали его, звали его, но Агасфер не шевелился.

Тогда она спела для него эту песню:

«Ты искал меня и нашел, иначе и быть не могло. И даже если ты не хочешь этого знать, — ты желал меня, ты желаешь меня.

Ибо я — божественное, которое *можно* обладать.

Я — дерево жизни. *Мои* плоды не имеют вкуса добра или зла, они имеют вкус божественного».

Она помолчала мгновение, и ее мысли, казалось, унеслись к другим заклинаниям:

«Ты нужен мне, чтобы я была полностью счастлива.

Я дремлю там, внизу, в прохладных комнатах, где часы больше не являются часами. Там растут всевозможные странные ракушки и изумруды, прекрасные, как вечернее небо. Я играю там в кустах лениво живущих растений, которые колышутся в мягком течении.

Но там я думаю о тебе, я не могу там спать, ты нужна мне, вечность ничего не значит без тебя.

Пойдем, — я знаю больше, я хочу показать тебе больше, о чем ты не можешь и мечтать:

Я знаю путь к широким, широким морям, которые не имеют конца. Там я качаюсь на плещущихся волнах и кричу от восторга, когда, взлетев, могу поймать в свои руки мимолетную пену.

Волны и я, мы так хорошо понимаем друг друга! Они принимают форму моего легкого тела, а я — я многогранна, как они.

Мои глаза, посмотри в мои глаза! В них все море. О, ты не знаешь, как прекрасно первое трепетание рассвета в глубинах моря!

Ты не знаешь, как прекрасно смешиваться с прозрачной водой, которая похожа на небо и которую можно схватить, и которая схватывает тебя, бледная вода, текущая, живая вода.

Я протягиваю руки, я чувствую чудо своей жизни, моя кровь поет то же, что поет вода.

В воде я удерживаю ветер и солнце, я пью свет, я впитываю в себя все вещи, я как один цветок, в котором живут солнце и все вещи.

Мои руки, моя грудь, полная ликующих желаний, мои губы, мои глаза, они еще только крик, вздох, песня воды и всех вещей, они песня бурлящей жизни, которая всегда рождается заново.

Но только тебя я не имею, только тебя я нуждаюсь, потому что все, что во мне, жаждет тебя, моя сокровенная красота стремится к тебе...

Я хочу быть для тебя всем, жизнью всего, что живет; ясность света в моей вечной плоти, все солнечные вещи дня и тени восхитительного вечера, и даже ночь, которую никто не может измерить, в которой время стоит на месте.

Пусть наши желания сольются воедино, — мы больше не будем чувствовать наши души.

Мир исчезнет в нас, мы будем божественным морем и божественным светом».

Она извилась перед ним с спокойной гибкостью великолепного животного, обхватила его чресла и подняла свое лицо к его лицу; он обхватил ее голову обеими руками, ее ноздри дрожали, ее глаза касались его, и он услышал из ее влажных губ этот шепот, который казался ему сильнее грома:

«Я одновременно опьянение и смерть».

Агасфер дико наклонился над ее глазами, над ее губами; в нем зародился мощный крик, который вырвался из его горла; он бросился на нее, как на добычу, и, переплетаясь, они сражались в жестокой борьбе в тупом восторге.

Он больше не видел ее, погрузив голову в ночь ее волос, прижавшись к ее рукам; он чувствовал только ее задышающуюся грудь и живое великолепие этого тела, обволакивающее его, как будто мощный вздох проносится по морю, — он тщетно пытался удержать это извивающееся тело в своих объятиях. А она кричала:

«Разбей меня, обними меня, впитай меня в себя...»

А он: «Я прижимаю тебя к себе, я вдавливаю тебя в свою плоть, но я не владею тобой, я не владею тобой в себе...»

«Ты чувствуешь мою жизнь? Ты чувствуешь мою кровь? Поглоти меня, поглоти меня, я хочу исчезнуть в тебе...»

— Я хочу исчезнуть в тебе...

— Мы как два пламени, пожирающие друг друга...

— Я не могу... я не могу...

— Я хочу умереть от тебя... О, мы умираем вместе...

— Мои губы раздавливают твои губы, как плод, но я не чувствую твою душу...

— Ты чувствуешь всю жизнь, которая горит в моей груди, в моих губах, во всем, что я есть? ... Еще! Еще! Я еще не обладаю тобой . . .

— Мои вены взрываются, вся моя жизнь разрывается в тебе... О, нежная, горькая смерть! ...

— Чувствуешь ли ты, как смерть поднимается, как вода? Чувствуешь ли ты, как ты утекаешь и исчезаешь, поглощенный сладострастием? ...

— Молчи, молчи,пусти меня... О горькая смерть, которая не является смертью! ... Моя душа горит во мне...

— Я не отпущу тебя, я хочу твою душу...

— Моя душа горит во мне... Поглоти меня, или я убью тебя! . . .

— Еще! Еще! Каждая частица моего тела должна стать новым праздником безумия!

Он словно хотел задушить ее на своей груди, но ее взгляд все еще бросал ему вызов в темноте, и он чувствовал, как она тянет его в глубину.

«Я все еще та, кем была... Пена наслаждения и боли как соль во рту...

— Возьми меня, стань пламенем во мне, возьми меня... Я научу тебя тому, что превосходит все удовольствия...

— Бессильная ярость! ... Твоя бездна не больше моей бездны...

— Ах, ты можешь только кусать, зверь! . . .

— Кусай, кусай! ... Ты не можешь выпить мою душу, жалкая гарпия! ...

— Вниз, вниз! . . . где забыт весь свет . . .

— Твоя смерть — ложь... Мое пламя поглотит твою смерть...

— Я утащу тебя с собой, я должна заполучить тебя . . . Посмотри на меня . . . не ускользай от меня! . . .

— Я хочу раздавить твою увядшую плоть в твоих экскрементах... Твоя смерть — ложь... твои глаза — ложь, твои простые плотские глаза... О, твои, Христос! Христос! ...»

Нечеловеческий крик раздался по лесу, морская женщина еще мгновение сжимала свои окровавленные руки, как сумасшедшая кусая себя за руку, и опустила обратно в ночь.

Агасфер лежал один, задыхаясь, в темной мертвой тишине, наполненной запахами гниющих прудов. Его сердце тяжело давило на него, как перезрелый плод: у него не осталось ничего, кроме отвращения и ненависти. Почему он еще жил? Почему он произнес это имя? Почему он не мог выплюнуть его навсегда? —

И теперь, с легким шелестом ветра в кронах деревьев и пробуждающимся щебетанием птиц, медленно наступала влажная серость утра, а затем и само утро, ужасное в своей тишине, свет, который без спешки, но неизбежно рос, занимал всю ширь пространства и пропускал часть своей яркости сквозь густую листву. И вместе с этим светом в Агавере рос страх.

Еще глубже, глубже в лес! В зеленую ночь...

Но теперь он хорошо знал, что то, от чего он бежал, было в нем самом; как бы он ни разрывал себе грудь, оно жило там, как ужасно тихий свет двух глаз...

И из его разбитой души поднялся мучительный вопрос:

«Если нет *ничего другого*, то почему же твоя паника?»

В отчаянии он перестал думать, но вопрос остался, и он должен был ненавидеть, он не мог поступить иначе, с ненавистью, которая уже несла в себе знак смерти. И он оставался весь день где-то в пещере, прижавшись к земле, как испуганное животное.

Голова болела, горло пересохло, лихорадка жгла его; во рту он еще чувствовал что-то вроде безвкусного привкуса крови, напоминавшего ему о морской женщине.

Он прогнал ее образ, он хотел забыть все, все; но другие видения поднимались, иногда размытые, а потом снова ужасно четкие.

Он видел город в огне и пламени, где ландскнехты убивали людей; он видел глаза старого человека, который не мог больше кричать и получил ножом в горло; он видел женщину на коленях, с ребенком у груди, почти прижатым к ее сжатому телу; она кричала: «Боже, о Боже!» развратнику, который насиловал ее, и невинный ягненок в ее руках был пронзен пикой, кровь брызнула на лицо Агавера...

Да, эта мать взывала о... *чем-то другом*... Думают ли об этом иногда муравьи, которых затаптывают? Этот ребенок ничего не сделал, его мучили без причины, и он страдал без смысла. Так было везде: слепая жажда крови, бессмысленные страдания! Мысли Ахасвера кружились вокруг этого с тайным, коварным, скрытым удовлетворением: в этом было что-то, что ему нравилось. Быть жестоким без цели, разве это не было божественным? И разве это не душило в крови то, что муравьи из людей называют Богом?

Он словно касался дрожащими пальцами подергивающейся плоти ребенка. Из него хотело вырваться дьявольское смех, но он даже смеяться не мог. И когда он вылез из своей пещеры, он стоял в ночи, глядя вперед, на четвереньках, и чувствовал, как в нем поднимается безумие, и думал: «Так хорошо!»

В лесу только кое-где виднелся мутный зеленый свет, как глубоко под водой, и в нем, казалось, двигались вялые фигуры. Агасфер слышал приближающиеся голоса, голоса без человеческого звучания, но которые он иногда думал понимать, хотя они были спутанными и мимолетными. Так ночь начала странно оживаться, с тусклым взмахом крыльев сов и всевозможными звуками животных, которые искали друг друга в диких зарослях. Иногда он понимал, что они кричали, но сразу же забывал: это было что-то вроде криков из их плоти, быстро уносимых другими, столь же бессвязными криками. Все обитатели леса начали пробуждаться вокруг него. Волки пробежали мимо на мягких лапах, и он чувствовал их влажное дыхание (); змея медленно тянула свои холодные кольца по его руке; кусты хрустели под тяжелым телом кабана, который, тяжело дыша ноздрями, терся о дерево, и Агасфер почувствовал теплый запах его пота и подумал: «Так хорошо!» В то же время он снова почувствовал вкус крови во рту и подумал: «Так хорошо!» И когда весь лес зашумел, и он услышал вокруг топот и рев, полный страсти и болезненного наслаждения, он начал выть, не зная почему, как хищник, в котором слишком много невыносимой жизни и который хочет излить ее, полную боли.

Теперь казалось, что все, что могло бегать, летать или ползать, ползало и роилось вокруг него. Стаи мелких животных роились, как пчелы, извивались, как черви, набрасывались друг на друга в брачном неистовстве и кусали друг друга. Тощие были пожираемы толстыми, толстые — жалкими. Многие были похожи на летающие точки, убивавшие все, к чему прикасались. Даже любовь была борьбой. Сплетенные друг с другом, сражались единороги, змеи, грифоны, гигантские пауки и фантастические чудовища, мощно вооруженные для спаривания и убийства, с хлыстами, похожими на красные кинжалы, и хватательными конечностями по обеим сторонам пасти, усаженными зубами, как пилы. Все были опьянены немой страстью и яростью разрушения, некоторые разрывали себя на части, с окровавленными челюстями, и кровь рождающихся смешивалась с кровью умирающих. Крик той матери и ее невинного ребенка в горящем городе теперь раздавался из всего. Агасфер видел, как страдали даже деревья, почки распускались с болезненным вздохом, плоды лопались со стоном и разбрасывали свои семена в пространство, сок текла как пожирающий жар под корой, и повсюду жизнь была не чем иным, как мучительным огнем, который давал здесь новый рост и там снова сжигал его: гореть, чтобы снова расти, расти, чтобы снова гореть — жизнь и смерть были огнем, который кипел и в жилах Агасфера. Но он не мог больше встать, он не мог больше выть, он упал лицом на землю, ему казалось, как будто он врос в землю, чтобы никогда, никогда больше не шевелиться, и чувствовал страдания этой земли, все эти бессмысленные страдания, в то время как над ним непрерывно проходили стаи спаривающихся и сражающихся животных и крик горящего леса, который кричал: «Вечно! Вечно! Вечно! Вечно! . . .»



И самым ужасным для него, помимо ада, были глаза Христа, которые плакали о нем.

Агасфер на пути в рай



На поляне в том лесу жил старый отшельник: его хижина была настолько мала, что кролик мог бы обойти ее всего за четыре прыжка. Святой человек спал там на постели из сухих листьев. Он сам пек себе ржаной хлеб, выращивал немного овощей и держал козу и дюжину цыплят. За красивые корзинки, которые он умел плести, он время от времени получал из отдаленной деревни то небольшое, что ему еще было нужно, а паломники иногда приносили ему лакомства с ярмарки, например, белые и черные свиные желудки с рыльцами и ножками. Но душа отшельника и все его дела были всегда обращены только к Богу. Восхищаться Им и прославлять Его во всех Его делах, погружаться в созерцание Его неиссякаемой доброты – вот чем он занимался, и это было его жизнью.

И так случилось однажды, когда он ранним утром тихо бродил и с благодарным изумлением созерцал чудо всех дней, утреннее сияние солнца, играющее в сыром лесу, что он нашел мужчину, лежащего на животе с вытянутыми руками, который тихо стонал. Отшельник набрал воды из ручья, умыл лицо незнакомца, и тот, наконец, как будто пробудился от сна, с безумным взглядом. Он не понимал, что говорил ему старик, и, шатаясь, дошел до постели из листьев, где снова упал без сил.

Агасфер горел от лихорадки, и видения омрачали его память; ад все еще звал его, и он крепко держался за руку отшельника, чтобы не упасть в эту ужасную бездну, как камень в пропасть. А старик, чтобы успокоить его, тихо похлопывал его по рукам, как поглаживают ребенка, и в душе благодарил Бога, который, возможно, избрал его своим орудием, чтобы спасти бедного грешника.

И каждый раз, когда Агасфер открывал глаза, он сразу видел, как к нему подходит добрый седобородый старик, и улыбка на этом морщинистом лице была настолько естественной, что Агасфер тоже слабо улыбался — он чувствовал себя совершенно изможденным...

В этот день они почти не разговаривали. Время от времени Агасфер просил попить; прохладная родниковая вода на мгновение освежала его сердце. Когда лихорадка немного спала, он полубессознательно наблюдал за спокойной деятельностью отшельника, который собирал травы для больного, варил ему кашу или молча сидел, перебирая крупные бусины своего розария и молясь.

Но когда наступил вечер, Агасфер испугался смерти: таинственная жизнь лесной тьмы снова начала преследовать его и выть над ним. Только когда он почувствовал, что отшельник держит его за руку, он смог отряхнуть с себя кошмары, и когда он увидел над собой ясное лицо, ему вдруг показалось, что перед ним стоит его мать. Так он и заснул.

Когда петух разбудил его своим криком, лес, который он видел через открытую дверь, уже был окрашен в голубые тона раннего утра; розовый луч проникал в келью через окошко, а снаружи в прохладе слышалось щебетание и свист синиц и дроздов; Агасфер даже услышал, как где-то поет старый отшельник, что-то похожее на молитву, сдержанным и монотонным голосом, который звучал по-детски.

Агасфер еще мгновение дремал, и воспоминания о том времени, когда он был совсем маленьким, незванные всплыли в его памяти; мать снова взяла его с собой в церковь, и ему разрешили петь вместе с другими; в церкви были ароматные облака ладана и красивые свечи, которые горели весь день, и золотые предметы, сияющие в полумраке. Его мать умерла рано, она всегда выглядела такой грустной... Он снова закрыл глаза и мечтал об этом ладане и этом пении, пока отшельник снова осторожно не вошел; он болтал мирным голосом и принес Агасферу молоко, хлеб и яйца, что ему очень пошло на пользу, потому что он снова почувствовал жажду жизни своего тела.

«Я хочу жить...» — он сказал это с вопросом в глазах, и «Бог исцелит вас», — ответил старик.

Сам Агасфер был удивлен тем, что его голос был так без сил. «Бог...» — прошептал он, но замолчал, как только услышал это слово из своих собственных уст.

И когда он сел прямо и огляделся, то увидел рядом с окошком деревянный брусок, на котором распятый Спаситель простирал руки, рядом с тяжелой книгой и черепом. Агасфер долго смотрел на это с болезненным благоговением. Он больше не понимал, что с ним происходило, это было как таинственное смущение, которое заставляло его колебаться: он хорошо чувствовал, что лежал как ребенок, что больше не мог ненавидеть, что его гордость была сломлена, и он чувствовал это как сладкую, сладкую боль от раны, из которой незаметно капала его кровь.

«Не спрашивай меня, кто я... Ты не имеешь права меня ничего спрашивать...»

Он снова откинулся назад, его худые руки лежали бессильно, а в груди горела сладкая боль.

«Бог послал вас ко мне», — сказал старик спокойно и серьезно.

Агасфер улыбнулся с тоской и промолчал.

В тот день он гулял с отшельником по лесу. В воздухе уже чувствовалась мягкость осени; тонкий туман сверкал на паутинах, а солнечный свет был светло-русый, что делало все вокруг таким же прекрасным, как прекрасное воспоминание. «Я живу!» — думал Агасфер, испытывая удивление и простодушную радость. Он чувствовал землю под ногами, видел, как чистый свет пробивается сквозь деревья, полные птиц, вдыхал аромат малины, и все это было жизнь, жизнь, — но имел ли он право прикоснуться к этой жизни? Не исчезнет ли она вдруг, как сон? И он прислушивался к спокойному, душевному голосу старика, как раньше прислушивался к сказкам своей матери. Сколько лет прошло с тех пор? Была ли его жизнь одной длинной болезнью, от которой он теперь только постепенно выздоравливал?

Когда наступил вечер, они сидели вместе на голой возвышенности, откуда, глядя через кроны деревьев, можно было видеть, как все леса простираются, как большие волны,

которые наконец сливаются друг с другом и становятся все более голубыми до пурпурной дали, где умирало солнце. Последние лучи еще светили там, на суровом лице леса, окружавшего тишину. Когда Агасфер сидел рядом с отшельником, весь злой ужас исчез; но чем больше мир шептал о мире и чем нежнее становилось небо над ним, тем больше Агасфер чувствовал в своем сердце старую тревогу, чувствовал, как рана его сердца горит, невыносимо нежно, в угасающем свете вечера.

Они долго молчали. Лицо отшельника было неподвижным свечением в светлом сумраке. Он закрыл глаза, чтобы глубже в себе увидеть вечную красоту всего, что он видел, и прошептал: «Боже!»

Это *одно* слово было как голос великой тишины, в которой они сидели где-то, потерянные, как в море.

«Я так долго искал его...», — сказал Агасфер коротко и глухо, опустив голову к земле.

«А что еще вы *могли* бы искать?» — спокойно спросил старик. «Все, что делают люди, — это движения к Богу. Но они не знают этого и лежат в грязи».

«Я никогда не находил Его...»

«Если вы теперь догадываетесь, что Бог *есть*, то вы не можете найти ничего другого. Он — непостижимый Свет. Так же как все пламени устремляются вверх, ваша душа не может не подниматься к Свету».

«Но если все это только сон...»

«Все — сон, только не *это*».

Неслышимый поток тьмы медленно поднимался: леса вырисовывались глубоко-черными на фоне опалового неба. И Агасфер почувствовал более болезненно, чем когда-либо, что то, что горело в нем и будет гореть вечно, увы, не было сном.

В последующие дни он снова бродил, преследуемый своим беспокойством. Образ того вечера продолжал жить в нем, слившись со словами отшельника: черные леса и сияющее небо, сводящееся над миром... . Вдруг он так ясно понял, кем он был; — Непостижимый Свет! Эти слова проникли в самую глубину его души, и . . . теперь, когда они были произнесены, он нашел их такими простыми, как будто они давно лежали в нем, в подсознании. Так это было *то*, чего он жаждал? Чего он еще жаждал, — ведь пламя снова вспыхнуло, он не смог погасить его в безднах земной пыли . . . О, эти бездны! ... С тех пор как он побывал *там*, он более чем когда-либо ощущал свою беспомощность и то, что он был жалким маленьким пунктиком, потерянным в вечно непостижимом: вся его прежняя жизнь казалась ему сжавшейся до ничтожества — до шелеста сухих листьев от проходящего шага — перед тем *единственным*, о котором говорил отшельник. Зачем ему еще отрицать это, прятаться за камнем? Он искал *это*, о, он искал *это*!

Но... а если его и нет?

Разрываемый этим сомнением, он долго оставался, склонив голову на руки, погруженный в мрачную ночь, пока наконец в нем снова не прояснилось, и это прояснение было похоже на взгляд, который он так хорошо знал:

«Что-то от этого света было в глазах Христа...», размышлял он.

Он бежал по лесу, спотыкаясь, и кричал: «Боже! Боже!», как будто это могло помочь! Затем он снова лежал, сжимая руки, в траве и кричал: «Боже! Боже!» А на открытой высоте он стоял, выпрямившись, склонив голову назад и закрыв глаза, и кричал: «Боже! Боже!» — но он был неизменно и вечно одинок.

Его взгляд следил за жаворонком, который, напевая, поднимался все выше и выше в воздух, пока не исчез в сияющем пространстве. «Скоро ей придется снова спуститься на землю!» — смеялся Агасфер. Так же летели и его мысли, но они были как слепые птицы, взмывающие к свету, чтобы затем, пораженные молнией собственного отчаяния, кружась на обожженных крыльях, снова падать в темноту.

И даже в ярком свете дня все вещи на земле казались ему темными, как в тот вечер; в лесу ему казалось, что сквозь старые деревья просачивается лишь слабый свет из подвала.

Иногда он думал: «Мои ноги стояли в смерти, мои руки чувствовали смерть, я ничего не могу, я ничто, прими меня в свою бесконечность, о Боже!»

А иногда, когда кровь в нем снова становилась сильной, поднимался голос из прошлого: «Я не сломаюсь», и он упорно блуждал по пустынным лесам, пока вечером, голодный и измученный, не возвращался в хижину и не сидел тихо рядом с отшельником. Они мало разговаривали, но Агасфер чувствовал себя там более комфортно и в большей безопасности. Ведь, глядя на мирное лицо старика, он видел в нем уверенность, которую не понимал, но чувствовал.

И Агасфер не верил, но что-то проникло в него, хотя он сам не мог понять что именно, и это что-то все ярче и ярче горело в глубине его мрачной и пустой души: надежда — надежда, что и он когда-нибудь обретет покой — возможно...

Лес постепенно начал ржаветь, как большой дворец, полный тусклого блеска.

На блеклом медном красном и янтарном желтом цвете кронах лежал мимолетный блеск солнца, часто такой чуждый, потому что не было видно, из какого угла неба оно светило, как будто оно превратилось из тумана в свет или в тихое сияние самих вещей.

Но затем наступила гнилая осень, непрекращающийся, холодный дождь, который заставляет леса дрожать в бледном и мертвенно тихом тумане.

Отшельник заболел: его тело было так старо! Агасфер теперь почти всегда оставался с ним; часто они долго молчали, и из этой тишины поднимались восторженные слова святого, как чистый огонь над миром, который Агасферу казался более серым и несчастным, чем когда-либо. Он даже не думал больше о том, чтобы бежать дальше, в открытую местность: какая от этого была бы польза? Ведь везде была одна и та же земля, мрачная, связанная своим проклятием.

Но маленькое семя надежды может так быстро прорасти, что ты даже не заметишь этого, там, внутри! И там, внутри, сияла яркость, как таинственный осенний свет, источника которого не видно, — бледное отражение той красоты, которая лежала в душе отшельника, как в ярком зеркале.

«Как я изменился!» — иногда признавался Агасфер: он сам удивлялся, что теперь мог тихо сидеть и ждать — ждать того, чего не смел предвидеть, — часами, почти спокойно думая обо всем, что произошло. Дикая жаркая страсть больше не пожирала его, пылающее пламя померкло, как в тусклом рассвете.

И однажды утром, когда все было окутано серебристым туманом, он вдруг, без причины, почувствовал в себе безмятежную уверенность, естественное возбуждение всего своего существа, нечто, что поднималось само собой, как песня, как волна на солнце, и в этот момент он понял, понял в своем сердце, что это было вечное Свет, невозможно, чтобы его не было...

Но и этот день прошел в нищете и бессилии... Как это было странно! Даже слова отшельника теперь казались ему сухими, как мертвые слова в книге. Никогда еще он не чувствовал себя таким беспомощным, таким лишенным сил, таким жалким и апатичным, и он забился в свой угол и просто думал: «Делай со мной, что хочешь!»

Он снова ждал, дни за днями.

С наступлением сильных морозов старик совсем застыл; он почти не ел, почти не двигался и сидел, выпрямившись, у огня: он казался замерзшим вместе с зимой, с тощими руками на тощих коленях, и вся его жизнь теперь сократилась до блеска его глаз. В них Агасфер ясно прочитал то, что он когда-то сказал ему: «Умереть — значит родиться». Чем больше расцветала в старике мечта о вечности, тем строже становился его голос, неумолимый, как сама правда, и в этом голосе Агасфер слышал свою собственную обиду на все половинчатое, вялое, мрачное, несовершенное, свое собственное бурное стремление к... единственному, что было больше всего. Запертый в келье, перед отшельником, который тихо умирал, он, увы, не мог думать ни о чем другом. О, если бы он смиренно, совсем смиренно, каждый час превращал в молитву к тому свету, который никто не может понять или представить, тогда земля и люди однажды погрузились бы под ним, как немного пыли, — и тогда: единственная реальность, в бесконечном покое! ... Он только напряженно смотрел на неподвижное желтое лицо святого, чтобы в его глазах найти путь к этому Единственному, этому Единственному! ...

Густой снег, хрустящий от мороза, падал на это большое светлое пятно, окруженное черным голым зимним лесом. На бело-голубом небе висело солнце без тепла, воздух и снег сверкали от звонкого резкого холода, который был едким, как соль. Все было мертво, только неподвижный свет жил всемогущественно и непоколебимо над миром. И дни теперь были всегда одинаковыми, иногда Агасферу казалось, что времени больше не существует. Отшельник и он сидели там одни, с предчувствием бесконечности в груди.

И однажды, когда они сидели вместе в одном и том же сне, старик, склонив голову назад и широко раскрыв глаза, казалось, прислушивался к чему-то, что мог слышать только он один.

«Что ты видишь? Что ты слышишь?» — спросил Агасфер, подскочив к нему.

Но старик не произнес ни слова. И тогда Агасфер, глядя через окно на твердый белый пол, на котором сверкало солнце (), увидел в ветре фигуры света со снежными крыльями, выше деревьев, и сверхъестественная музыка парила и кружилась вместе с этими фигурами ввысь, а потом остался только далекий звук этой музыки в ветре.

Агасфер закрыл глаза рукой и прислушался к себе; ему казалось, что жизнь теперь остановилась навсегда. Но потом он снова услышал стук своего сердца и потрескивание огня, где в пепле лежали несколько картофелин, чтобы поджариться, — и в истинной тишине, сквозь которую были слышны привычные звуки, он все еще чувствовал невыразимую сладость воспоминания об этой музыке...

«Ожила ли одна из моих невысказанных мыслей? ... Может быть, и мой конец близок? ...» — ликовал он про себя, и радость облегчила все в нем. Было так, как будто его душа вознеслась над ним самим, так что его бурное желание и жгучая тоска в груди стали крошечной

мелочью, которая не могла ему навредить, страданием, которое случайно стало его, но однажды исчезнет вместе с тем немногим, что наполняло его жизнь.

«Свет! Свет! . . .» В нем не осталось ничего, кроме мысли, которая обнаженная и свободная поднималась к этому свету. Келья и отшельник вдруг показались ему такими странными, случайными, реальностью, которой не было, образом мгновения . . .

На свободу! На воздух! На высоту! Где он не будет стоять ни перед чем, кроме прозрачных просторов и ясного бездны неба, как посреди большого кристалла света.

И его душа и этот свет были одним и тем же песней, которую он *слышал*.

Бог казался ему ближе, чем его собственное тело.

У его ног холмистые леса и весь мир были не более чем образом мгновения.

Только движение его души давало всему этому жизнь...

Но потом он вдруг снова почувствовал странное неудовлетворение, как тоску, потому что он больше не поднимался, потому что его сердце не открывалось дальше и дальше, потому что все теперь оставалось неизменным, неизменно прекрасным; и как только он это почувствовал, он снова оказался один, во времени.

«Чего же мне еще не хватает? Чего ты хочешь от меня?» — молил Агасфер, «чего ты хочешь от меня? ...»

В его голове спутано возникали всевозможные мысли и образы, среди которых были те, которых он втайне боялся, и другие, которые он не мог уловить, как воспоминание, которое всегда ускользает. Но он хотел их заставить: «Я их господин!» — воскликнул он и снова поднял лицо. В ярком свете все очертания были четкими и отчетливыми: кусты, старые деревья с их сучковатыми ветвями; воздух был одной пустотой, солнце неподвижно светило на снег, все застыло в кристальном, вечном великолепии, и сверкающий свет был повсюду — безмолвный и неподвижный, как смерть.

«Разве я не надеюсь? Разве я не верю? Чего же мне еще не хватает? Есть ли на земле какое-нибудь желание, которое я не подавил, не раздавил, не уничтожил?»

Он царапал ногтями кровь на груди, на лбу, хотел причинить боль своему жалкому телу; и, находясь над миром и над собой, так близко к своим высшим мечтам, он оставался несчастным, подавленным, с твердой коркой на сердце, которую не мог разорвать.

«Почему я не могу почувствовать ту мощную жизнь, которую предчувствую?» — размышлял он. «Почему я стою в жестоком блеске этого зимнего света, как в смерти?»

И так он снова блуждал по лесам.

Через некоторое время он вышел на дорогу, где расположилась цыганская банда, кочевой народ из кастрюльщиков, плетельщиков корзин, укротителей лошадей, гадалок и кто знает, кого еще. Это были крепкие черные парни в овечьих шкурах, женщины и дети в разноцветных и серых лохмотьях и обрывках, целый клан оборванных бродяг, которые выглядели как короли; они лежали вокруг костров, на которых жарилось мясо, и обедали; чуть поодаль стояли их большие крытые повозки. Агасфер почувствовал, как его желудок заурчал от голода: как давно он не видел бараньей ноги! С робким, настороженным взглядом он попросил немного еды, и они добродушно рассмеялись, так что белые зубы на их обожженных лицах сверкнули, когда они увидели, как худой бродяга так храбро грызет и

обгрызает кости. Со всех сторон подходили эти странные ботокуды, любопытные, как дети, чтобы узнать, как и что. Но Агасфер давал только скупые ответы; он давно, очень давно не был среди людей; ему казалось, что он так далек от всего, что между ним и этими фигурами, между ним и его собственным сердцем стоит невидимая стена. Он с удивлением смотрел на этих дерзких парней с глазами, как золото, на старую ведьму, которая переворачивала вертел и при этом постоянно что-то бормотала в своем беззубом рту, и на всех этих медведей-детей и этих женщин с маленькими сопливыми носами на спине: они тоже были вечно изгнанными, странниками без земли и без Бога; в своих грязных лохмотьях они несли запах земли, что-то от дикой просторы и ветра многих мест, и все же Агасфер не заметил беспокойства в их взглядах.

«Куда вы идете?» — спросил он. Они указали ему: туда, к деревням и городам; они нарезали вязанки хвороста и хотели их продать. На этом Агасфер снова замолчал. Пойти за ними? Он не хотел даже думать об этом: он знал жизнь и печаль этого бесцельного блуждания; было слишком поздно, он никогда не смог бы изгнать из своей души сладкую тоску по небу...

Теперь они готовились к отправлению. Повсюду царила оживленная суeta на грязном снегу. Оборудование было собрано, и вязанки хвороста погружены на тележки. Маленькие мальчишки бежали за лошадьми, которые слишком далеко отклонились от пути, и весело крича, висели на их гривах. Каждый делал свою работу, товарищи помогали друг другу, и вскоре в этом беспорядке наступил порядок под присмотром своего рода праотца, человека, похожего на дерево, с большой трубкой, с головой, обернутой платком, , который закрывал один глаз, в то время как другой пристально наблюдал из-под костлявых бровей. И там была еще молодая девушка, на которую Агасфер не мог перестать смотреть, потому что она, босиком, с ногами, израненными грязью и снегом, скользила то сюда, то туда, то идя, то танцуя, как солнечный луч, и ее свежее личико среди спутанных волос напоминало прекрасный сон в яркий день.

Во время всей этой суматохи Агасфер стоял как затерянный. Он прислушивался к песне, звучавшей из-за телеги:

Через высокое и низкое, через тонкое и толстое!

Завтра будет завтра, но момент

Из твоего смеха сияет мне, моя госпожа!

Через солнечный жар и грозящую бурю!

Дело сегодняшнего дня, хлеб сегодняшнего дня

И утешение твоего взгляда, моя госпожа!

Через борьбу и мечты, через радость и боль!

Но братья вместе, и о, мое сердце

При твоём любящем сердце, моя госпожа!

Агасфер пошел за повозкой: певец был занят тем, что завязывал свой кнут, и, как будто желая сообщить о тайном счастье, он махнул Агасферу, чтобы тот подошел к тому, что находилось внутри хорошо укрытой повозки. Агасфер откинул кусок парусины и увидел на нескольких снопах соломы лежащую женщину, которая только что родила: ее невинный малыш висел у

ее груди и пил; ее мертвенно-бледное, впалое лицо хотело улыбнуться, ободряя его, слабой улыбкой. Но Агасфер снова опустил брезент, потому что в ее взгляде он увидел что-то, чего не мог вынести, да, действительно, что-то от... того другого...

«Почему меня снова охватывает страх?» — подумал он.

Поезд начал отходить с криками, хлопками кнутов и скрипом колес. Праотец шел впереди, как престарелый Каин, ведущий свой бродячий род. И когда они проходили мимо, взгляды всех этих людей были устремлены на Агавера, и в орлиных глазах молодых мужчин, в покрасневших от слез и огрубевших от слез глазах старых женщин, в глазах той чудесной девушки, простых, как распускающиеся цветы, во всех этих глазах он видел тот непостижимый вопрос, который в тот пятничный день прочитал в глазах Назарянина...



«Что мне делать?» — молил Агасфер, «что мне делать?» И он взывал к Богу в своем одиночестве.

Наступил вечер, холодный и синий, как сталь, и ветер завывал в мертвом лесу.

Была ли надежда в нем сломлена? Он опустил голову на руки и не хотел больше ничего видеть, ничего слышать, кроме серафических голосов утра, которые он никогда не забудет; но в невыразимом блаженстве воспоминаний он слышал теперь другую мелодию, которую не мог изгнать, смутное стенание: как шум моря, из которого время от времени вырывается вздох, или шум множества людей, печально поющих вдаль. Были ли это цыгане, идущие ночью где-то там, вдаль? Или ветер в деревьях? Или это поднималось из него самого, как воспоминание?

Как тяжело было его сердце в груди!

Было ли все это искушением? Почему он забыл об хижине? Ведь он знал, что там была правда; там он не был жертвой своего беспокойства. Может быть, отшельник умер? ... Агасфер снова поднялся на возвышенность, где стояла хижина, и, бегая без цели, наконец обрел некоторое спокойствие в душе.

Он молился: «Возможно ли, что я могу почувствовать что-то другое, кроме Тебя, о Боже? Что мне делать? Я не буду иметь воли в своем плотском теле, пока оно не станет неподвижным, как камень, и буду ждать, ждать, ни разу не оглядываясь вниз, полностью обращенный к Тебе, о Несотворенный Свет, пока Ты не поразишь меня слепотой и Твоя ослепительная красота не освободит меня...»

Он достиг вырубki, где хижина темнела под заснеженной крышей. «Огонь погас», — подумал Агасфер, — «он умер...» Мысль о смерти наполнила его сладким чувством одновременно и безмятежности, и тоски по дому. Но он остановился на мгновение, так чудесно тихо было в снегу и в этой сверкающей голубой ночи, полной алмазных звезд, как будто повсюду царила тишина ангелов, которые не шевелили своими гигантскими крыльями, а прислушивались и ждали.

Агасфер вошел в хижину: в ясности морозной ночи он увидел старое лицо, все еще склоненное назад, и широко открытые глаза. Но отшельник не был мертв; его истощенная, холодная рука искала руку Агасфера и с неожиданной силой сжала ее. Сердце еще очень слабо билось: не было ли так, как будто он ждал Агасфера, чтобы умереть? Может быть, эта смерть откроет ему тайну жизни?

«Что ты видишь?» — воскликнул Агасфер, «что ты слышишь? Скажи, скажи, ты видишь Бога? ...»

Он наклонился над ним, заикаясь, и вгляделся в зеркало его глаз, чтобы увидеть то невыразимое, что видел умирающий. «Спаси меня! . . . Что мне делать? . . . Спаси меня! Укажи мне путь! . . .» — Нет, ничего! Еще мгновение, и было бы слишком поздно, он остался стоять, как перед непроницаемой стеной.

«Ты видишь свет? ... Покажи мне путь! ...»

Глаза были сломлены. Агасфер не смел больше говорить. Все молчало. Он упал на колени, и из его души вырвалась безмолвная молитва; все силы его существа стали легче, как молитва, возносящаяся ввысь, и было так, как будто он сам должен был умереть, настолько мягко он был освобожден от всего, что было.

Он не считал это чудом: «Разве смерть не является чем-то другим?» — думал он; «как естественно и просто! . . .» В жуткой пустоте кто-то взял его за руку, и тогда он поднял глаза; все пространство, невыразимо обширное пространство, дрожало от крыльев и падающего света. Чувство блаженной уверенности переполнило его тоску и страх. «Боже! Боже!» Но дыхание вышло из него, он поднялся в головокружительном полете, и там, наверху, он увидел, как вихри, кружась вместе с ним, поднимали вверх светящиеся рои поющих воинств. Из бездны зенита к нему плыли, колебались, сияющие лица, торжествующие в бесконечной радости, а затем снова стремительно устремлялись к своим звучащим сферам. «Свет! Свет!» — пели они, и эта песня сама была летящим светом, и все миры пели вместе с ними в чистоте этого вечного рассвета, в который они поднимались все выше и выше; а другие голоса, еще выше, совсем нежные, как вздох, но все же более мощные, чем гудящие хоры небесных воинств, непрерывно пели «Слава! Слава!» в ослепительную непостижимость.

«Жизнь, которая есть вся жизнь! Вечная! Вечная! Вечная!»

Херувимы и серафимы были как миллионы снежных лепестков, уносимых весенним ветром; и над всеми песнями шумела тишина, которая была еще глубже и прекраснее. Все небеса расцвели, и теперь Агаввер знал, что он приближается к царству тайны, где слова больше не имеют значения, где нет больше добра и зла, нет воли, нет желаний, а все — океан простого и вечного бытия в свете, и радостное движение любви — лишь форма высшего покоя в непостижимой сущности.

Он закрыл глаза от страшного света, в котором больше не будет утра.

И в этот момент он искал воспоминание, снова услышал далекий звук меланхоличной мелодии, заключенной в его сердце, — и он хотел оглянуться, в последний раз. Но как только эта мысль промелькнула в его голове, вселенная задрожала, как будто разорванная мощным криком, рука отпустила его — он был один, он не знал, где...

«Вечно! Вечно! Вечно!» — звучало пение ангелов из бездны над его головой.

Но другие голоса беспорядочно кричали ему, как будто из множества задыхающихся глоток. И, стоная, Агасфер посмотрел вниз, на сумрачную мглу, из которой поднимались размытые фигуры, протягивающие к нему руки, как из могилы.



«Осия! Осия! Слава во веки веков!»

Но внизу раздался протяжный стон, где покалеченные фигуры ползали в грязи или поднимались, таща за собой разорванные одежды мертвецов.

«Слава! Слава! Мир во веки веков!»

Но снизу, где была болезнь и зловоние, борьба надежды и отчаяния, бесконечные поиски, человеческие страдания и человеческая любовь, раздался вой, похожий на шум праздника.

В бурлящей темноте Агасфер увидел кулаки, поднятые с проклятиями, и глаза, в которых горело мрачное пламя бунта. Разве там не были цыгане и чудесная девушка с ее лицом из сна и бледная мать с ребенком на груди? Но там была целая армия, все новые и новые, насколько хватало глаз, как потоки в темной долине, над которой кружили большие хищные птицы ночи и света: море лиц с тысячами и тысячами глаз, устремленных на Агасфера, и посреди них стоял Тот, кого он хорошо знал, который обеими руками разбрызгивал кровь из своей открытой груди в небо и на всех, так что его руки были широко раскрыты, как на кресте, и он тоже молча смотрел на него, как в тот день, когда он воскликнул: «Отче, почему Ты меня оставил?», и все же на его лице сияла непостижимая улыбка.

Еще мгновение Агаввер услышал гулкий рокот херувимов и серафимов в свете, — капля крови Христа упала на его сердце, как огненная роса, и корка треснула, его сердце раскололось, и с распростертыми руками он упал вниз, к страданию и неопределенному сумраку, проклятый, разорванный, но широко открытый от любви.

Агасфер среди людей



Когда Агасфер пришел в себя, он побежал через лес, который шумно шелестел. Вниз, прочь от всего этого призрачного мира! Вниз, где звали люди! . . .

Где же они звали? Вдали, погруженные в туман долины? . . . Ни одного луча света, ни одной звезды — только дикий ветер, который то здесь, то там пробуждался, полный неясных голосов, разорванных на клочки в ночи. И Агаверус только мчался вниз, вытянув руки вперед, спотыкаясь в холодной сырости кустарника.

Потому что действительно началось оттепель: лютый зимний холод таял, пронизывающая влажность проникала в сердце, и повсюду в темноте капала вода, а новая сила, несясь вверх по деревьям, ревела, как штормовой прилив, и старые гиганты стонали под ударами разбивающегося воздуха.

Живой ветер — Агасфер вдыхал его с диким удовольствием и иногда чувствовал в нем влажное дыхание, которое смягчало холод ночи и дуло ему навстречу, как мощный вздох.

Его лихорадка постепенно спадала, когда он начал различать в сумерках странные очертания лесного зарослей, окружавших его. Лес вырос из темноты: теперь все стало

яснее, знакомо в светлеющем дне; деревья, мощно укоренившиеся, с ветвями в воздухе, пели серьезно в унылой сырости, пока дыхание мира проникало сквозь них с запахом мха и гнилых листьев и пропитанной влагой земли, запахом распада и смерти и приближающейся весны.

Но когда небо совсем побледнело и тьма отступила между зеленоватыми стволами в глубину леса, ветер тоже утих, как испуганное животное, и, гудя, уполз в свою пещеру перед рассветом. Только короткое щебетание птицы, прыгавшей с ветки на ветку и распушивающей свои перья, все еще раздавалось время от времени. Лес становился менее густым, вырубленные участки прерывали опускающуюся и снова мягко колышущуюся даль: за ними, над бледно-красными кустарниками, буки казались гораздо больше, теперь, когда все вокруг было так тихо.

И вдруг Агасфер увидел здесь, там и снова там просветы света: мир! Простор! Его сердце забилося, он задыхаясь побежал, жадно устремив взгляд вперед, и вскоре ошеломленный остановился на опушке леса: земля лежала перед ним, бескрайняя, с холмами и равнинами, деревнями и лесами, все еще окутанная свежим утренним туманом, а на горизонте, в тихом фейерверке, разгоревшемся в протяженных облаках, поднималось солнце, как стеклянный шар, в котором тлело пламя.

Оттуда поднялся легкий ветерок, и молодой, светлый день задрожал повсюду. Мир казался бесконечным; поля были уже тускло-зелеными или еще лежали голыми и жирными, мерцая фиолетовым цветом в суровом утре, вдоль светлых красных тополей; а в ложбинах, между фруктовыми садами, далеко и широко сгрудились красные домики, из которых вьющимся дымом поднимался дым. За ними, как можно было предположить, простиралась долина, а затем холм за холмом поднималась стеклянная голубая даль, где башня замка возвышалась в воздухе на возвышенности, а мельницы усердно вращались, чтобы испечь хлеб своими четырьмя руками. Но там, где солнце из своих чистых небесных врат озаряло землю, еще влажную от ночи, все сверкало чистым золотом. На мгновение она боролась с парами, за которыми она тлела бледно-желтым цветом, потому что ветер снова усилился, дуя полными щеками, взъерошивая полосы облаков, и тени летели по земле быстрым взмахом крыльев; но затем она снова взлетела, как вечный фонтан, и сверкала блестящим, торжествующим великолепием.

Божественное! Это было, как будто «Осанна!» ангелов пело в ней, страшный песнь света, который не мог умолкнуть. Острые глаза Агасфера хотели заглянуть в сердце солнца, но оно ослепило его всеми своими копьями, и он был вынужден снова отвести взгляд; он мог вынести только его отражение на краях воздушных колоссов и над покрытой деревьями землей, которая лежала так величественно и плодородно, что ее красота поразила его, как красота женщины.

Его сердце переполняло неизвестное ему доселе волнение; он с наслаждением вдыхал ветер, обволакивавший все вокруг, и запах холодной, тяжелой, бродящей земли. Да, он знал, что поступил правильно! Да, проклятый, изгнанный на эту Землю, он чувствовал себя победителем, вызывающая жизнь шумела в его крови; и все же, в теплоте широкого пространства, обвевающего его виски, с головой, дрожащей от лучей солнца, — как он стоял такой маленький и потерянный перед этим миром, который был миром людей! И почему в его восторженное изумление снова прокралась грусть — чем прекраснее была земля, тем сильнее была эта грусть — как будто в глубине его души дремал бог, чьи сны тускло мерцали там и который никогда, никогда не пробудится!

О, быть с людьми, разговаривать с людьми! . . .

В первой деревне, в которую он попал, были глинобитные хижины, серые и покосившиеся под соломенными крышами, прижавшиеся друг к другу, как будто хотели защититься от несчастья. Несколько детей шли в школу в деревянных башмаках; одна женщина скребла порог и недоверчиво смотрела на незнакомого бродягу. Дальше, перед кузницей, двое подмастерьев подковывали лошадь (), а напротив хозяин кабака с кирпичным лицом сидел над своей полудверью и курил; они глазели на странную птицу и не смели шутить. А еще была группа девушек, которые громко болтая, стирали белье в ручье: они внезапно замолчали, когда Агасфер прошел мимо. «Я похож на пугало», — подумал он. Он стыдился своего костлявого тела в рваном плаще, своего лица заключенного, своих голых, грязных ног, своих дырявых штанов, через которые просвечивала кожа.

И он не осмеливался просить милостыню; теперь, когда он снова оказался среди людей, он вдруг испугался, что они отвергнут его грубым словом. Он побежал дальше.

Погода стала более пасмурной: время от времени солнце все еще пробивалось сквозь движущуюся завесу и освещало голубые глубины, но когда оно снова остывало и затуманивалось, вдруг становилось холодно, как будто собирался град; ветер порывами бушевал над редко зеленеющими полями, и под проносящимися дождевыми облаками земля выглядела почти заброшенной: только тут и там фермер разбрасывал навоз по своей земле или копал канавы для отвода воды. Вся земля была порезана на куски: это принадлежало Яну, а это — Петру, это было для свеклы, а это — для пшеницы, а это — для ржи, и нигде не было ни одного свободного места. «Давай, давай!» — проворчал Агасфер.

За черными, искривленными телами измученных яблонь он увидел остроконечные крыши большого фермерского двора, которые темнели на фоне серебристого неба, как замок. Он пошел к ним. Он стоял перед воротами, хмурый и косящийся: в этом тихом огороженном старыми и коричневыми сараями и амбарами дворе, где петух со своими курицами на навозной куче казался хозяином, была женщина, которая под навесом у телег готовила еду для животных; двое мужчин разгружали телегу с ботвой, девушка шла по двору с ведром в каждой руке, а хозяйка вешала корзины с сыром рядами на дом. Они бегло посмотрели вверх, и каждый неторопливо продолжал свою работу, как люди, знающие свой дневной долг. Но когда Агасфер сделал несколько шагов вперед, из стены внезапно выскочила уродливая собака, которая громко залаяла и яростно дернула цепь. «Черт тебя дери!» — проклянул Агасфер — и снова направился в путь.

В нем снова закипело старое возмущение. «Хорошо! Я сам завоюю себе место своими когтями!» — решил он. И вот, у отдаленной хижины, стояла женщина, разбрасывая зерно своим цыплятам. Она увидела его и остановилась в дверях. «Пусть она поплатится», — была его первая мысль. Он уже хотел взять то, что ему было нужно, если она не отдаст это добровольно, — он хотел схватить ее, он хотел впиться в ее плоть, заставить ее почувствовать, что он мужчина, и он хотел быть человеком! . . .

Ее лицо было покрыто веснушками, она выглядела уставшей и равнодушной.

«Я хочу пить!» — резко сказал он.

Не сказав ни слова, она повернулась к нему спиной и вошла в дом.

Ахасверус пришел в ярость, он вспомнил, как когда-то Христос стоял перед ним, и тремя шагами оказался в хижине, прямо за женщиной. Она обернулась в замешательстве, немного испугавшись: «Тише! Вы разбудите ребенка...», и, протягивая бродяге кувшин с молоком, она

быстро наклонилась над колыбелью, в которой маленький червячок тихонько заплакал и стал тереть маленьким кулачком свой носочек. А Агасфер стоял с кувшином в руке.

«Эй, эй, моя мышка...» Она ласково прижала его к себе, но он, пища, тянулся к груди, и, немного отвернувшись от колыбели, мать позволила ему пить столько, сколько он хотел, — «вот, мое сердце, вот!» — и все время смотрела на него, как будто его жизнь была ее жизнью.

«Есть кто-нибудь?» — спросили из спальни.

«Добрый друг, муж!» — «Он болен», — тихо сказала женщина, пока Ахасвер наконец пил, горшок слегка дрожал между его зубами, «теперь я должна работать за двоих, а это, в конце концов, не детская забава».

Она сказала это без горечи, как бы про себя; опустившись на колени, она осторожно положила засыпающего ребенка обратно в колыбель, и Агасфер, глядя на бедное создание, лежащее так спокойно и беззащитно с открытым ротиком, почувствовал, как в нем поднимается печаль, не зная почему. Глубоко внутри него что-то сломалось, как будто ему хотелось плакать.

Мать посмотрела на него с мягким блеском застенчивого счастья в глазах, и она уже не казалась ему уродливой.

«Большое спасибо», — сказал Агасфер приглушенным голосом и уже хотел выйти. Она слегка улыбнулась, давая понять, что это было с удовольствием — ведь люди помогают друг другу, — и спросила: «Вам еще далеко?»

Он сделал унылый жест, как будто сказать это было бы слишком далеко, — и когда его посох снова зазвучал на бесконечном пути, в него проникло странное спокойствие, его возбуждение исчезло, он чувствовал себя ничтожеством, плывущим по течению, но без настоящей надежды или отчаяния. Просто идти, куда глаза глядят! Солнце снова просеивало мимолетные пятна света по полям, и жаворонок невидимо щебетал в сером свете.

Так Агасфер продолжал скитаться. Он не находил себе занятия: у крестьян были свои люди, они косо смотрели на него, бродягу, и пожимали плечами, когда он предлагал свою помощь для любой работы: ведь нельзя просто так упасть с неба! Только у кирпичников, измученных парней, ему разрешили немного помочь, но еще до вечера его выгнали на улицу. «Такую работу может сделать даже свинья своим хвостом!» — сказал мастер. И как сапожник Агасфер тоже не мог заработать ни копейки, потому что все эти бедняки ходили только босиком. Хотя он и хотел жить со своими братьями, он нигде не был как дома. «Это естественно», — думал он с горькой грустью. Все дела и занятия людей были когда-то так устроены, что не осталось ни одного места, куда можно было бы просто так залезть. И как приходилось копать в земле, то так, то иначе, чтобы поля приносили свой небольшой урожай! На пшеничном колосе, который терпеливо, терпеливо растет, Агасфер понял, как долго солнце, дождь и забота рук человеческих должны взаимодействовать, прежде чем мука выйдет из мельницы. И так было со всем, что росло на этой земле; жизнь не знала спешки и шла своими путями. Но с этой мудростью Агасфер мог пока наслаждаться затхлыми свеклами.



Через болотистые марши он наконец добрался до широкой реки, где, наверное, тысяча рабочих строила дамбу, и он был принят в эту огромную суматоху, чтобы с напряженными мышцами толкать железные вагонетки, полные гравия: это было как раз для него!

Можно было подумать, что туда спустилась целая армия, чтобы перекопать землю: там лежала толпа людей и трудилась в ямах и траншеях, покрытая грязью и с ногами в желтоватой грязи. Здесь строили наклонную каменную стену против воды (), там вбивали в землю столбы, похожие на стволы деревьев: двадцать или тридцать полуголых крепостных висели на веревках, при каждом рывке издавая грубый крик, а затем опускали блок с грохотом, подобным раскату грома. Между тем слышался стук песчаных телег, свист надсмотрщиков или командные крики мастеров, и все шло в такт. Там была целая деревня из

деревянных барачков, сараев и столовых, и когда солнце опускалось сквозь дымку равнинной местности, все это упорядоченное трудящееся население вдоль ленивой реки, которая изгибалась вдаль, казалось, как будто оно стояло в паре от пота.

В первый день, во время обеденного перерыва, несколько безобидных подколов приветствовали новичка, худого голодающего. «Это было ожидаемо», подумал Агасфер, но он смотрел парням прямо в глаза: он не даст себя выгнать отсюда, потому что чувствовал, что находится среди своих, изгоев, у которых живот был полон нищеты, а суровые лица излучали мрачную силу.

Подождите! Он хотел показать, что в нем есть мужество, у него было две руки, он был мужчиной! Пусть только подойдут! И работать нужно было так, чтобы лоскуты летели! Что же это было, наконец, какое изменение: он снова познал радость теплого физического труда; он был счастлив, когда, опираясь на ногу, глубоко впившуюся в песок, он сдвигал тяжелый груз под упорным давлением своих рук; и когда в конце пути он переворачивал свою тележку и, вытирая лоб, на мгновение отдышался, он молча улыбался товарищу, который, сдерживая хрипы, подходил к нему сзади. Его взгляд продолжал блуждать по земле, следя за отражением яркого света на реке, и все вокруг казалось ему новым. Он был доволен, что больше не был один.

Но когда вечером он лежал измученный в душном бараке и видел бедных рабочих, лежащих повсюду на соломенных матрасах вдоль глиняных стен, сгорбленных от усталости, с открытыми ртами на лицах цвета земли, то его снова начинала одолевать тупая боль от этой безысходной жизни, частью которой он теперь стал. Он больше не был один, он теперь знал, что жить в одиночестве невозможно; но в какую мрачную безысходность они все были заключены! Зачем все эти тяжкие труды и изнурительные работы без всякой перспективы? Как эти вечно слепые люди терпели свою жизнь? Но как он сам ее терпел? Он, один из этих тысяч...

И неукротимый огонь в его груди пожирал его. Но теперь эта боль была ему почти желанна. «Вероятно, она мне нужна, — думал он, — и кто знает, через что мне еще придется пройти, чтобы все совершить! Страдай, мой мальчик, сколько тебе нужно страдать; так ты почувствуешь, что живешь! И держись, ты здесь на своем месте!» Как бы он ни мучился, по крайней мере одно теперь было твердо в его сердце: он шел по миру, который не был создан обманчивым кошмаром, и этот путь был для него правильным, куда бы он ни вел... И он думал о пшеничном колосе, который так терпеливо растет, как будто он сам является мудростью.

Между тем наступила ранняя весна, и в болотах зашумело таинственное бурление и гудение растений и животных, а в сердцах людей зародилось сладко-горькое желание любви. Когда в субботу вечером часть из них уезжала домой, в деревню, где их ждали жены или возлюбленные, остальные погружались в мрачные мечты или всевозможные животные желания. Кстати, каждая столовая была публичным домом, где за пивом и шнапсом все целовались и обнимались, а иногда и кололись ножами, когда товарищи слишком разогревались. Агасфер, который представлял себе другое братство, чувствовал себя как человек, который протягивает руки, но никогда не может ничего схватить, и думал про себя, как было бы прекрасно, если бы он мог прижать к себе нежную, теплую жизнь женщины и чувствовать биение ее сердца, как свое собственное...

Так что вы понимаете, что в грязной деревянной лачуге, где вечером вся шайка хлебала суп, он молча следил за молодой девушкой, которая их обслуживала, взглядами, полными мрачной страсти, потому что у нее были милые и неиспорченные глаза на лице, светло-коричневом, как золотой виноград, и в ее движениях было что-то такое милое и своевольное,

огонь и ловкость лани. Хотя она и делала вид, что не замечает Агавера, она все же немного испугалась этого чудака, ей казалось, что он когда-нибудь принесет ей несчастье, и в то же время она не могла не поглядывать на него втайне. Что он хотел, раз он даже не заговорил с ней?

Но весеннее солнце, в полной силе, пробуждало не только жизнь и любовь: из взрыхленной грязи на самых сильных рабочих набросилась странная лихорадка, которая не отпускала их. Они дрожали, их глаза блестели из-под сухой, прозрачно-желтой кожи на лицах. Двоих уже увезли на телеге, чтобы они могли поправиться в другом месте; но вечером четыре или пять человек снова лежали в ознобе, безразличные ко всему, что происходило вокруг них, если только им давали пить, потому что они горели от жгучей жажды; и их тоже пришлось немедленно увезти. Мужчины испугались этого невидимого врага и начали роптать, но это не помогло.

Так случилось, что крепкий парень, который высмеивал своих товарищей как трусливых зайцев (), сам заболел; но он хотел держаться, пил много джина, «чтобы сбить лихорадку в ногах», и продолжал неуклонно шутить, продолжая свою работу, копая. Он не долго шутил: после одного из тех апрельских дней, полных холодных дождей и палящего солнца, он выпустил лопату из рук и вскоре лежал, как куча тряпок, дрожа от лихорадки, с неподвижными глазами, ищущими что-то в небе. Со всех сторон поспешили к нему с беспорядочными криками; старый рабочий немного приподнял голову несчастного и сказал: «Принесите пить!» Агаверус поспешил к своей столовой.

Он нашел там только девушку, которая, прислонившись спиной к стене, крепко заснула в непривычной тишине пустого зала, и ему пришлось молча постоять перед ней некоторое время, так невинно она спала, уже как дикий цветок, благоухающий в темноте леса.

Когда он осторожно разбудил ее, коснувшись кончиками пальцев ее черных волос, она посмотрела на него, как будто пробудившись от сна, удивленная приглушенным тоном его голоса. Только тогда она вдруг поняла, что он сказал, — на мгновение они смотрели друг на друга, не шевелясь, с открытыми лицами, с мыслью о смерти над собой.

Она пошла с ним к яме, где лежал умирающий. Человек, державший голову, смотрел мрачно, как старый волк, а остальные не смели больше говорить громко, они стояли в нерешительности с опущенными руками.

«Геневер?» — спросил один. «Нет, молоко!» — ответила девушка и, опустившись на колени, попыталась влить жидкость между сжатыми зубами; но она стекла по углам рта на подбородок и грудь, на которой торчали колючие волосы из восковой кожи, которая уже казалась мертвой. Агасфер с отвращением посмотрел на худое тело: казалось, что эти руки, впившиеся в землю, и эти грязные ноги, которые только тихо танцевали, больше не принадлежали ему, настолько неестественно большими они теперь казались; и он заметил, как под пылью и грязью на лице распространялась ужасная бледность.

«Мы должны отнести его внутрь, Хайн!» — сказала девушка; и в бараке « », пока мужчины, не зная, что делать, стояли вокруг — их становилось все больше и больше —, она молча делала то, что нужно было сделать, приготовила соломенные матрасы и одеяла, помогла мальчику поднять его под квадратные плечи, чтобы лучше уложить, и промыла свежей водой его лицо, на котором теперь блестели капли холодного пота.

Тем временем появились несколько мастеров, которые быстро разобрались в ситуации: «Ему нужен воздух, — что вы тут стоите и глазеете, воришки?» И они выгнали ворчащую толпу обратно на улицу, к своей работе.

Но страх смерти овладел рабочими, некоторые из них ругались, что больше не поднимут руку, и надсмотрщики должны были вмешаться, чтобы все снова заработало. Только Хайн, старый Изегрим, не произнес ни слова: он пошел прямо к месту, где упал другой, и продолжал наполнять свою телегу упорными толчками бедер; и Агасфер увидел в его взгляде мрачную, вызывающую силу воли, как будто опасность взбодрила его. Так и в него вдруг пробудилась вызывающая жизнь, которая сделала его выше, и все, что он теперь видел, слилось в новое чувство, которое не было ни болью, ни радостью, а скорее чем-то большим, чем эти два чувства, своего рода горьким счастьем, счастьем без надежды, без обмана, но все же заставляющим его кровь биться теплее.

Когда через полчаса мужчину увезли, чтобы он умер в другом месте, работа со своим разнообразным шумом повсюду возобновилась в обычном режиме.

Затем великолепие солнца скрылось за облаками, насыщенными розовым светом и возвышающимися до самого неба, и из огненной пасти горизонта над рекой пронесся вечерний ветер.

Еще один день подошел к концу! Рабочие, которые по своему голоду поняли, как поздно уже, были рады, что могут отложить свои инструменты до завтрашнего дня. Ночью здесь не будет ничего, кроме мягкого шелеста тростника и плеска воды, которая непрерывно течет вниз, в другие края. Агасфер, который откатил свою последнюю тележку, остановился на мгновение и подумал о всех тех людях, которые там, в далеких деревнях и городах, бесчисленные, молодые или преклонные, вступали теперь в вечер, — неизвестные, плачущие здесь и смеющиеся там, каждый со своими тайнами.

Хайн, который с его изможденным лицом и ушами, покрытыми кольцами белых волос, почти походил на старого моряка, тоже стоял и смотрел острым взглядом на широкую землю. И он сказал Агасферу:

«Здесь будет красиво, когда мы только осушим землю».

Агасфер начал размышлять и понял величие этого дела: сдерживание безмолвной силы наводнения, терпеливая суeta всего населения, где теперь все было так пустынно; он видел посеянные семена, зерно, которое вырастает из глубокой, темной земли, медленно высыхает и созревает в переменчивой погоде, хлеб для людей; и с дамбы молодые парни в такой вечер, как этот, будут высматривать корабли, идущие с моря.

«Так я, один из этих тысяч, стал частью прекрасной мечты», размышлял Агасфер, «так я с этими тысячами стал инструментом, с помощью которого прекрасная мечта становится реальностью...»

Когда эта мысль прояснилась в его голове, он задышал свободнее, как будто мир стал шире и в то же время ближе, мельчайшие вещи приобрели более милый вид, — и тогда в его сердце снова возник образ той девушки с ее юными, непринужденными движениями и тихой серьезностью ее улыбающегося лица.

В столовой во время еды, а еще больше во время последующего пьянства, царил сильный гул и шум, потому что мастер отправил домой несколько десятков упрямцов, которые восстали против него, и товарищи, разгоряченные перцовым напитком, подзадоривали друг друга

проклятиями и ругательствами в густом дыму, в котором тускло горела керосиновая лампа. Девушка наливала и бегала между скамейками туда, где ее звали: — «Лене! Эй, дорогая Лене!» — быстро поворачиваясь, везде наготове со своими дерзкими глазами, сжимаемая одним, обнимаемая другим, но всегда свободная и беззаботная, и в шуме иногда раздавался ее насмешливый голос, как колокольчик в воздухе. Над барной стойкой, как обычно, опирался хозяин барака, пьяный в стельку, гигантский парень с ужасным шрамом поперек рта.

Агасфер, прислонившись к окну, открытому в теплую ночь, смотрел из своего угла на Лене с каким-то угрюмым смирением; но в его взгляде, как всегда, должен был быть молчаливый вопрос, невыносимый вопрос, потому что:

«Я что-то у тебя украла?» — вдруг пошутила Лене, раздраженно выпалив прямо перед ним.

Агасфер не понимал, что делало его таким неловко, боязливо и слабо; он раздражился на себя и чуть не прорычал: «Что с тобой, сукин сын? ...» Но она как будто почувствовала это; она покраснела, и на мгновение они посмотрели друг на друга, как два врага, готовые к бою, пытающиеся прочесть тайну в лице друг друга, — как два влюбленных, которые хотят причинить друг другу душевную боль, чтобы вырвать тайну, чтобы она заговорила. Они больше не слышали шума, для них в этот момент было так же тихо, как и днем, когда пришла мысль о смерти... Но затем ее взгляд замаялся, отступил и, казалось, почти просил прощения.

«Почему ты боишься меня?» — тихо спросил Агасфер.

«Я не боюсь тебя», — коротко ответила она. Он схватил ее за запястья, но она отвернулась, хотела сделать себя маленькой, исчезнуть.

«Лене... Лене...»

«Оставь меня, как есть! Оставь меня, как есть! ...» А потом она сказала тише, как человек, который боится: «Что ты можешь со мной сделать?»

Она мягко высвободилась из его рук и все же немного посмотрела на него с бессознательной улыбкой, но было так, как будто она не могла вернуться в этот мир, полный шумной суматохи, который ее окружал, и не могла вынести взгляда Агасфера, и хотела прижаться к нему, чтобы он ее не видел, чтобы никто ее не видел...

Она снова услышала ропот и крики, наполнявшие зал, — Лене позвал и побежал, парни продолжали орать. Один из них, согнувшись и вытянув голову, обрушился на них с упреком, что они трусы:

«Мы здесь погибнем! Они не имеют права — черт возьми! — обращаться с нами как с животными! ...»

«Что нам делать?» — ругался другой, «бежать головой в стену? Они же все равно сильнее нас! ...»

И от бессильной ярости они пили вдвойне и хотели наброситься друг на друга. Агасферу казалось, что он лежит с этими несчастными где-то в бездне, из которой они отчаянно протягивают руки вверх, он и все они, взывая к более прекрасной жизни, которую они не могут увидеть, — и весь мир казался ему такой бездной...

И она — с ее вечными глазами! — она была с ним в этой бездне. И теперь он чувствовал, с каким-то горьким наслаждением, что любил ее, что любил ее еще сильнее, такой, какая она была, со всеми поцелуями, которые осквернили ее, с этими морщинками меланхолии вокруг

молодых губ, с этой тихой, невинной улыбкой, которая иногда, как зимнее солнце, освещала ее смуглое лицо, — с тайной ее человеческой души, полной добра и зла, полной зарождающейся, живой, бесконечной красоты...

Что притягивало его к ней, что притягивало их друг к другу через этот большой мир людей, которые все искали что-то, что не могли назвать — он и она, все —, не задумываясь, что же однажды расцветет из всего этого желания?

Не было ли, как и дело его рук, это желание его бедного сердца, само движение, возвышавшее его душу, частью прекрасного сна, одним из тысяч и тысяч движений, благодаря которым прекрасный, непостижимый сон становится реальностью, с кровью, духом и душой, из поколения в поколение, становящимся, живым, бесконечным сном? . . .

И все эти голоса, которые ревели и ругались из мрачных уст в полуосвещенной дыре, теперь проникали к нему почти как пламя, пробужденное из тишины и готовое вспыхивать снова и снова.

«Ребята, — вдруг воскликнул он, высоко подняв обе руки, — так не пойдет! Так не пойдет! Мы должны знать, чего мы хотим! И тогда все вместе, как *один* человек! ...» Его крик пронесся над шумом как колокол.

«Да! Да! Мы не можем больше лежать, как собаки! ...»

Он упорно продолжал повторять:

«Все вместе! И завтра мы скажем им, как мы хотим, чтобы с нами обращались! И если они не послушают, то мы покажем, кто мы такие! ...»

«Да! Да! Рука об руку!»

«А пройдем мы или нет, это мы увидим позже! ...»

Товарищи сблизились, и в их диких лицах, резко очерченных мерцающим светом дымящейся лампы, зародилась решимость.

Да! Там также горело желание, которое переходило из поколения в поколение... Бесплезное, возможно, бессильное? Сколько таких всплесков, над которыми время прошло, как вода! Сколько сердец, подобных этим, которые плакали кровью и теперь стали частью той пыли, в которой все зерна одинаковы! Но кто знает — Агасфер посмотрел на Лене, которая тихо улыбалась, — кто знает, что может однажды расцвести из капли крови? И кто знает, сколько капель крови нужно, прежде чем терпеливо, терпеливо растущий урожай однажды порадует людей своей золотистой зрелостью?

«Пройдем мы или нет, это мы увидим позже!» Так говорила жизнь, которая, готовая к борьбе, смотрящая вперед — возможно, на смерть! Это не имело значения! — но улыбается, потому что это жизнь, потому что она не может противостоять мечте, которая всегда хочет сделать ее более зрелой.

«Пройдем мы или нет, это мы увидим позже!» Теперь все это чувствовали, даже те, кто неподвижно смотрел в своем геновевом опьянении; и многие взгляды, которые долго были угрюмо обращены внутрь себя, улыбались друг другу, с радостным осознанием своей объединенной силы, — так же как Агаверус и Лене, глядя друг на друга, осознавали свою ничтожность и в то же время читали в глазах друг друга предчувствие своей божественности.

Из угла раздалась песня, — она затерялась в беспорядочном реве. Да, петь, петь они теперь должны были! В другом месте снова запели, но тут вдруг раздался старый голос, перед которым все голоса замолчали, потому что, каким бы старым он ни был, он звучал почти устрашающе серьезно и сдержанно: Это был Хайн, с белой копной волос, выпрямившийся как свеча, с кулаком, сжатым на столе, неподвижный, с тем же твердым, вызывающим взглядом, что и тогда, когда он возобновил работу. И он пел странную песню, песню о старых пиратах, он пел ее торжественно и медленно, как псалом, — откуда он ее взял? Как долго она дремлющая лежала в нем, чтобы теперь вдруг вырваться наружу? — Они не спрашивали о смысле: она была о бунте и доверии, о борьбе и вере, и они слушали, тронутые, и пытались полуголосом подпевать припеву — они чувствовали друг друга в старой песне.

Агасфер взял Лене за руку и прошептал со странным ударением: «Я держу тебя! Я больше не отпущу тебя! ...» Она позволила ему это и посмотрела на него, но его черты лица были как будто напряжены в диком, безумном желании, и в ее умоляющих глазах появился такой страх, что вся его сила сломалась, и он не мог не прижать девушку к себе, как нежное создание, нежно и ласково, пока их взгляды не встретились в улыбках, с молчаливым восхищением, которое может быть в глазах ребенка.



На следующий день начался бурный и веселый праздник; Агасфер и другие были прогнаны, но они смеялись, потому что видели, как за их спинами разгорается бунт. Одна и та же надежда билась в сердцах всех.

А ночью Агавес сбежал с Лене.

Когда воздух постепенно прояснился, они лежали на опушке леса; она все еще спала в его объятиях, укутанная в свои серые лохмотья, а он, опираясь на локти, бодрствовал, мечтал и смотрел на ее спящее лицо в утреннем свете.

Он думал обо всем, что произошло, — о пении ангелов в вечном рассвете, о пении морской женщины в огненной темноте, — но без упреков, без раскаяния, — все это были голоса,

которые звучали в голосах великого сна, который он предчувствовал, неустанно созревающего и который не был сном.

Он думал о Христе, — о тоске его глаз, о благословении его улыбки, — и эти глаза и эта улыбка все еще горели глубоко в его сердце; но эта жаркая страсть больше не была болью, — она стала чем-то лучшим и более полным, чем сама радость.

Когда наступил день в тишине росы, Лене проснулась, и Агасфер увидел, как земля и небо отражаются в ее доверчивых глазах.

Затем они вместе отправились в мир: ведь странник знал, что он должен странствовать, с радостью, и что нет ничего здоровее, чем такое странствование...

Под солнцем, которое в влажном тумане освещало пробуждающуюся природу, ивы сияли, как пруды, в которых утонули жемчужные блески; весна начала набухать от сока; первые нежные листья на старых деревьях вдоль дороги появлялись, как светло-зеленый дождь, застрявший там, наверху, с дрожью высокого серебристого света; а там, далеко-далеко, воздух был открытым и чистым, как над морем.

Так они шли мимо фруктовых садов с яблонями, которые цвели, наполняя воздух щебетанием и пением, мимо деревень и полей, где везде работали люди (); и те поднимали головы, когда Агасфер и Лене проходили мимо, и приветствовали их: «Да благословит вас Бог!»

«Сегодня Страстная пятница!» — сказала Лене.

Так они шли, зарабатывая на хлеб тем или иным способом, навстречу новым летам и зимам, новой борьбе за жизнь, новым страданиям и новым вершинам, — так они идут до сих пор, и, к счастью, никто не может предсказать, что будет последней вершиной и концом пути.

«Вечный еврей» был написан в 1897—1906 годах. Перевод следует измененному второму фламандскому изданию; для сравнения был использован французский перевод, инициированный поэтом. Печатью этого издания занимались Poeschel & Trepte в Лейпциге. Двести шестнадцать экземпляров были напечатаны на настоящей бумаге ручной работы; двести из них были пронумерованы, а шестнадцать экземпляров, не предназначенных для продажи, были снабжены оттиском с именем.